



**Анатолий МАРКУША**

**ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ**

65 коп.



Молодая гвардия



**Анатолий МАРКУША**

# **Вместе и врозь**

*Повесть*



МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1985

84Р7  
М 27

**Маркуша А. М.**

М 27      Вместе и врозь : Повесть.— М.: Мол. гвардия,  
1985.— 216 с., ил.  
65 к. 100000 экз.

Повесть рассказывает о семье, тесно связанной с авиацией. Герои ее — дед, отец, сын. Сын начинает свою самостоятельную жизнь, опираясь на опыт старших. Жизнь семьи прослеживается на фоне жизни нашей страны.

М  $\frac{4702010200-099}{078(02)-85}$  169—85

ББК 84Р7  
Р2

© Издательство «Молодая гвардия», 1985 г.

ЧАСЫ НАЗАД  
НЕ ХОДЯТ



А если разобраться — так что случилось? Ну, напечатали его портрет на обложке журнала. Очень хороший портрет, цветной, ничего не скажу. Похож. И потом — шлем и эти очки тоже производят впечатление. Сразу видно — летчик!

А теперь приходят ко мне люди — расскажите!

Интересно, что они думают? Конечно, он мой сын, я растила, воспитывала, только что я могу рассказать? Какой он летчик? Мне бы самой про это послушать...

Странные люди, думают, что это удовольствие — иметь сына летчика. Хотя бы и героя и пусть даже с портретом на такой обложке.

Как он летает? Наверное, хорошо, раз это продолжается столько лет и его не сбили на войне, а он много сбил. Только по-настоящему я об этом ничего толком не знаю. Он хороший, мой сын, и всегда старается не волновать маму. Вот письма его с фронта. Как он писал тогда?

«Здравствуй, мама! У нас сейчас все спокойно. Погода в последние две недели паршивая, даже мухи стараются воздерживаться от боевых вылетов. А мы тем более сидим на земле и не рыпаемся. Совестно даже сказать, чем занимаемся — играем в шахматы, читаем книжки и смотрим кино... — ну, дальше тут неинтересно: рассказывает, какие фильмы показывали. А вот: — Кормят нас хорошо, так что можешь не волноваться — не худеем. Витамины дают в достаточном количестве, и клюквы тут дикие заросли, а сейчас, когда ягоду прихватило морозом, она даже не кислая, так что не ленись нагибаться...»

А ко мне приходят и спрашивают: как он летает, да чего переживает, да сколько сбил фашистских самолё-

тов? Смешно просто, как люди не понимают, я ведь всего только мать. И какой порядочный сын станет писать матери, что ему приходится испытывать на фронте?

Вот другое его письмо:

«Точно обещать не могу, но вполне вероятно, что скоро удастся повидаться. Мы собираемся в командировку — получать новых лошадей, старые притомились. Если кони будут заволжские, то Москвы не объедем. Я уже кое-что приготовил для тебя из продуктов и туалетного мыла подсобрал...»

Вот как он мне писал.

И могу похвалиться, мало кто из матерей столько писем получал, сколько я. Шестьсот двадцать шесть писем за войну от него пришло, конечно, если вместе с открытками считать. Храню. Все под номерами тут сложены. Обижаться на него не могу. И деньги присылал. И как возможность случалась — кто если через Москву ехал или летел, — гостинцы всегда от него получала. Когда мыло, когда сахар или даже шоколад. Писала я — не надо мне ничего этого, не присылай, но к таким моим словам он без внимания относился. И все равно слал что мог.

А тут случай вышел: пришел ко мне человек один. Тоже с вопросами: что да как?.. И попал он под недобрую руку — карточки я утром потеряла, а до конца месяца больше недели еще оставалось. Разволновалась я, расстроилась, ну и рассказала в сердцах тому человеку:

— И чего вы все от меня хотите? Мое дело было родить. Родила. И еще выкормить. Выкормила. А дальше сам он развивался, вот его и спрашивайте, как он в герои вылез...

Должно быть, хороший тот человек был. Не обиделся. Усмехнулся и говорит:

— Человек от матери начинается, а вы говорите — родила, выкормила! Так просто не бывает, что вы в него заложили, то и возросло... Ну да ладно, вижу, вы не в настроении нынче, зайду в другой раз.



И не зашел. Почему — не знаю. А мне слова его вот уж сколько времени покоя не дают. Что-то мы с мужем в него и правда, наверное, заложили. Только рассказывать про это трудно. Жизнь, она ведь разная — и хорошее было, и плохое. Про одно вспоминать — удовольствие, про другое — горе. И потом, один так поймет, другой — этак...

Замуж я рано вышла. Восемнадцати не было еще. Сказать, по любви — неправда это будет, сказать, по расчету — тоже неправда. Время трудное тогда было — гражданская еще не кончилась. А у отца моего четверо дочерей на шее. Это одно. Другое — очень я о самостоятельности мечтала. Надоело по людям мыкаться: у одного шить, у другого детей нянчить. В один дом идешь как к родным, в другой — с отчаяния только и соглашаешься.

Тут он как раз ко мне и подкатился.

Из себя интересный, разговорчивый. Старше на полных пятнадцать лет был. Отец у него механик. Братья на железной дороге, кто машинистом, кто слесарем. И тоже семья большая, работающая была. Чем не пара? Погуляла я с ним месяца три, да и согласилась. Вышла.

Плохого слова сказать не могу. Заботливый был, обходительный. Только первые года три я все равно мучилась сильно. Мужа моего, рабочего человека, на торговлю вдруг потянуло. И так пристраивался, и этак крутился, а все в убытках... И первого сына мы не уберегли, четырех месяцев не прожив, помер.

А потом вроде переменялась жизнь. Он к часовому делу прилачился. Второй сын родился. Из Одессы в Киев перебрались, потом в Москву.

Работал он много. И зарабатывал хорошо. А характер от одинокой работы его, что ли, стал портиться.

Все недовольный, все в опасении — а вдруг завтра хуже, чем сегодня будет?! Экономить надо, сберегать...

Девчонкой я в нужде росла, на что завтра жить, сроду не думала. Даст бог день, даст пищу — так счи-

талось. И еще мой отец всегда говорил: шея есть — хомут найдется.

Переживала. Сильно, бывало, маялась. Но ссориться мы не ссорились. Только другой раз мне до того скучно делалось, хоть беги. А куда? Ленке третий годик всего пошел... Так и вертелась — все дома да дома: сготовить, убрать, постирать... И людей, можно сказать, почти не видела. Если только с соседкой словом перекинусь. Да-а, так вот было.

А Ленка подрастал мальчишкой обыкновенным. И болел, как все дети. И самовольничал, тоже как все дети. Одно сказать могу — парень как парень был...

И геройства в нем никакого я не замечала.

Упрямство было. Это точно. Лет в пять, помню, ни с того ни с сего объявляет:

— Молока не хочу. Я не маленький.

Ну, думаю, так не пойдет. Не хочешь — не пей, только ничего другого, пока не выпьешь, я тебе не дам. И убрала стакан. Он часок побегал, проголодался, конечно. Является со двора:

— Ма, есть хочу!

Хочешь — хорошо, и опять тот же стакан перед ним ставлю. Выпьешь молоко, есть дам. А он свое — не буду! Не будешь, не надо. Так до самого вечера голодным пробегал, а молока и не глотнул. Сердце, ясное дело, у меня болит. Переживаю. Но не уступаю. Голодным спать улегся. И ведь другой не поверит: полных два дня я с ним воевала. Молоко скисло, простоквашей сделалось, а он свое — не буду. И я свое — пока не выпьешь, есть не дам.

Не знаю, помогло ему упрямство на войне или нет, может, и помогло, только таким он всегда был — и в три года, и в пять, и в семнадцать...

Когда восемь классов кончил, решил на завод поступать. Отец на дыбы:

— Для чего мне спину гнуть, для чего стараться, если я одному сыну не могу дать образования?

А Ленька как уперся — хочу работать, — так его и трактором не спихнуть. Один — свое, другой — свое.

И ушел из школы, устроился на завод слесарить.

Отец его тогда сильно обругал, он обиделся и как замолчал, ровно год с ним не разговаривал...

Вообще, честно если сказать, отца он не любил. И почему так вышло, не знаю даже. Как отец станет его учить — а это он мастер был поучить! — нахмурится и молчит. Тот может хоть час свое проповедовать, а Ленька в стенку уставится и вроде оглохнет. А другой раз сцепятся.

— Деньги счет любят, — скажет отец.

— А мне считать нечего, — ответит Ленька.

Отец разозлится и начинает объяснять, как надо жизнь планировать, как что покупать, а он засмеется да что-нибудь сморозит. Обидное. На язык острый он был. Тоже верно.

Когда я у него в тумбочке кожаную шапку нашла — шлем его летный да очки здоровенные, когда узналось, что он на летчика учиться поступил, думала, конец света будет...

Отец его и так честил, и этак ругал, лучше бы про это не вспоминать вовсе. И сказал, помню:

— Лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником...

Как Ленька услышал эти слова, даже побелел весь:

— Пожалуй, мне лучше обращаться к тебе на «вы», — сказал и из дома ушел. До самой ночи не возвращался. Где шастал, не знаю. И с того дня до самого сорок первого года был с отцом на «вы». Правда, когда узнал, что отец в ополчение ушел, первый раз написал: «Здравствуй, дорогой папа! С удивлением узнал о твоём решении идти в ополчение и даже не знаю, как к этому отнестись...»

Только не довелось отцу это письмо прочесть. Не довелось.

Ну чего еще про Ленькин характер я могу вспомнить?

Терпеливый он был и на работу, и на боль. Мальчишской, бывало, сидит выпиливает или так что ладит — и ломает. Засопит только. Снова возьмется и не встанет, пока не выпилит, чтобы все как надо было.

А руку, помню, располосовал ножом, весь кровищей залился. Подхватила я его — к врачу. Хирург зашивал руку, так он и не пискнул. Белый-белый стоял, как мел, но ни слова, ни слезинки... Доктор даже потом сказал:

— Молодцом, мужчина.

Но и тут Ленька промолчал — ни обрадовался, ни возгордился.

А учился, прямо скажу, с пятого на десятое. Ни упрямство, ни терпение не помогали. Учителя мне всегда говорили: способный у вас мальчик, а лентяй.

Мне учителей судить трудно. Образования настоящего нет и опыта тоже. Только несогласная я с ними была и несогласная осталась.

Что Ленька от отца взял, то взял. И отец работающий был, и Ленька тоже. Теперь я думаю, что он с пятого на десятое учился не по своей вине. Учили их плохо. Новости всякие там придумывали, подходы. Да и учителя своего дела толком не знали. Время какое было? Все скорей, скорей, все на новый манер...

Может, я, конечно, и не права. Только как он смог бы других учить, если бы сам не умел учиться? А ведь когда летнюю школу кончил, его сразу же инструктором оставили. И между прочим, первый орден Ленина Ленька не за войну, а за инструкторскую работу получил.

Вообще, человека понять трудно, даже если он твой собственный сын. Это только легко болтать: он у меня умный, он у меня вежливый или наоборот — глупый, хам... А чтобы по-настоящему разобраться, может и жизни не хватить.

Одна обида у меня до сих пор на Леньку осталась.

Может, он виноват, может, я виновата. Не хотелось об этом вспоминать, но придется. Из песни слова не выбросишь. То есть выбросить — дело недолгое, да что тогда от песни останется?

Соседка Фаина Сергеевна ко мне зашла, застрекотала и с мысли сбила. Хороший она человек, верный. Мы в эвакуации еще сдружились. Вместе в Ташкенте жили. Две старые дуры непристроенные мыкались. Она за мужем жизнь прожила, как и я. Мой погиб, и ее мужа убили. Обе мы и могли только что по хозяйству. А какое там, в Ташкенте, хозяйство было, чье? Из консервных банок трехлитровых у нее кастрюлька сделанная была, а у меня — сковородка. Вот и все.

Фаина первая в госпиталь определилась и меня пристроила. Трудно было, да не о том речь, всем тогда трудно было.

Ну вот. Зашла ко мне Фаина и застрекотала.

Стрекотня ее невредная была, всегда на одну тему: если крупу на селедку сменять, а селедку на жир, выгодно или не выгодно получится? Полчаса раскладывала, да так и ушла в сомнениях — менять или не стоит...

А обида вот какая у меня осталась. Не на нее — на Леньку.

В госпитале нашем женщина одна находилась — не раненая, а больная, с язвой желудка. Разговорились мы часом — у нее сын летчиком был, погиб. Ну, я, конечно, смолчала, что и мой в летчиках. Чего расстраивать, подумала. Мой — жив, а ее — нету.

Заходить к ней стала. Разговоры разговаривала, чем могла помочь старалась. Когда человек в одиночестве мучается, очень ему нужно выговориться, душу раскрыть. Вот и радовалась она, как, бывало, меня увидит. И всю свою жизнь передо мной перебирала.

Обыкновенная у нее была жизнь, как и у Фаины, как и у меня, как и у большинства баб. Муж, дети, работа. Она бухгалтером до войны служила. Крошечки сосчитывала. Все на детей надежду держала — вырастут, другая жизнь пойдет. Да не получилось — старший сын с дурной компанией повязался, в тюрьму угодил. Третий год никаких сведений; другой — летчик — погиб, от мужа полгода ни слуху ни духу — воюет где-то на Белорусском, если, конечно, жив. Все это она мне рассказала. Спокойно так, без слез, без жалоб. Видать, крепкая была женщина и к горю приученная...

А раз прихожу — улыбается, радостная такая. И говорит:

— Вот погляди, какое я нынче письмо с фронта получила.

Подает и велит вслух читать.

Ну, стала я читать. Пишет летчик, товарищ ее сына. Душевно, хорошо так рассказывает, какой ее Эдька замечательный человек был, как его в полку любили.

Читаю и реву. Про ее сына читаю, а сама про Леньку думаю: ну-ка и меня такое письмо впереди ждет?..

А под самый конец, значит, он, летчик этот, товарищ Эдика, извиняется за плохой почерк — рука у него малость ранена, и потому писать трудно, а еще говорит, что очень бы он хотел ей за родного сына быть и, ежели она позволит, называть ее мамой...

Тут я на подпись глянула — и в глазах темно. Роспись Ленькину я сразу признала...

Вот дела какие.

На холодную голову рассудить: ну, что такого? Чужую женщину в ее материнском горе поддержать — святое дело. И что писать ей обещался — справедливо, слова не скажешь. Но зачем при живой матери мамой ее называть? И почему от меня скрыл, что раненый?..

Не могу того понять и простить не могу.

Вообще, я многое в нем не понимала. Он и маленький загадки загадывал. Вот, помню, народ у нас собрался. В лото играли. Не пьяные, ничего. Чин чином все. И номера с шуткой выкрикивали. Всем хорошо было. А он к занавескам пробрался. Богатые занавески были — расшитые, в цветах, ягодах; мало гладью, еще и бусами отделаны... и с такой злостью стал бритвой бусины отчекрживать.

Отец заметил, дал, конечно, ему духу. И правильно — к чему вещь портить? А Ленька ну просто как волчонок сделался. И отцу нагрубил, и все объяснить старался, какие люди обманщики и гады. С чего это он? Никого никто не обманывал, все честно, без жульничества играли, да и чего жулить, если карта по двадцать копеек шла?..

Или еще случай.

Под самый конец войны я в Москву вернулась, и захежал ко мне майор Пахомов. Начальник Ленькин. Привез письмо, привез посылочку. Ну, я рада была без памяти, чем могла напоила, накормила. И оставила того майора у себя ночевать. Одно слово — как родного приняла.

А на другой день под вечер приходит он с девицей. Сам выпивши, не сильно, правда, но все-таки заметно. Сначала я думала, девица — знакомая его. Порадовалась было — встретились! Война ведь, не каждому такое счастье. А потом гляжу — не та девица. Позвала я его на кухню и говорю:

— Уж извините, но я по-матерински спросить хочу, где ты ее подхватил?

А он смеется:

— Разве я? Она меня подхватила, и не расстраивайтесь, мамаша, война спишет...

Нет, грубого слова я не сказала, но у себя их не оставила.

Так что ж вы думаете — осудил меня Ленька. Осудил.

Дескать, вроде я притворяюсь, благородство разыгрываю... И тоже какой-то обман тут усмотрел. А какой обман? Почему? Разве ж я против любви? Только, извиняюсь, я за любовь, а не за свинство.

А здесь вот заметка из газеты у меня вырезана.

«Бой подходил к концу. И у наших ястребков горючего оставалось всего на несколько минут, и у фашистских стервятников оно было тоже на исходе. Командир звена гвардии старший лейтенант передал по радио: «Общий сбор!» — и со снижением стал уводить свою группу с поля боя.

До линии фронта оставалось километров двадцать, когда ведомый Пилевина гвардии лейтенант Габов заметил подкрадывающихся со стороны солнца двух воздушных пиратов. Не задумываясь и секунды, гвардии лейтенант комсомолец Леня Габов отважно атаковал противника и тем самым спас жизнь своего командира.

Однако в этой молниеносной схватке досталось и его машине. Была пробита левая плоскость, поврежден элерон. Ястребок начал терять устойчивость. Продолжать бой невозможно. А внизу территория, занятая противником.

Габов тянет к своим, и теперь уже гвардии старший лейтенант Пилевин прикрывает своего ведомого. Остается пять, три, какой-нибудь километр до передовой линии, когда на самолете комсомольца Габова вспыхивает мотор. Высота мала, дотянуть до своих почти невозможно. Но отважный истребитель, блестяще владеющий техникой пилотирования, не теряет мужества и с присущим ему мастерством ведет пылающую машину на восток.

Наземные войска, наблюдавшие за этим боем, открывают ураганный огонь по фашистским стервятникам. Те сразу же утрачивают свое нахальство — не любят их асы драться над нашей землей — и отворачивают. Но высоты



у Габова почти не остается, а машина горит и впереди изрытое танковым боем поле. Садиться вынужденно — верная гибель!

И тогда герой-комсомолец принимает отважное и единственно правильное в сложившейся обстановке решение — выбрасывается с парашютом методом срыва. Не выпрыгивая из кабины, он поднимается над сиденьем и раскрывает парашют. Шелковый купол наполняется встречным потоком воздуха и бережно опускает летчика на землю...

Наш корреспондент беседовал с гвардии лейтенантом Габовым в госпитале, куда он был доставлен бойцами Н-ского стрелкового полка. Леня Габов сказал:

— Это был мой тридцать шестой воздушный бой. Я не совсем доволен собой. Жалко потерянной машины. Но если и в другой раз обстоятельства сложатся подобным образом, буду действовать так же...»

Мне эту заметку комиссар Ленькиного полка переслал. И письмо при заметке было. Поздравлял с таким сыном, здоровья желал и дожить до Победы.

Заметку и письмо я прибрала. Потом, когда уже война конец пришел, показала Леньке. Он удивился. Оказалось, на фронте той газеты не видел. И не знал, что про него написано. Прочитал и говорит:

— Вранье тут, мать, все. И никогда я таких глупостей никому не говорил.

Ну, ладно, не говорил, так не говорил. Поверила. А бой такой был? С парашютом ты выпрыгивал?

— Выпрыгивал, — говорит, — потому выпрыгивал, что молодым и глупым был.

И стал растолковывать, что нечего было лезть на тех немцев, раз бензина не оставалось, а надо просто командиру по радио сказать, откуда они подкрадываются. И тот мог пониже спуститься, и все бы кончилось тихо...

— Но ты же ему жизнь спас, — говорю.

— А этого никто не знает — я спас или оно само со-

бой получилось. Был бы поумней, и машина б целая осталась.

Говорит и улыбается, а я не пойму: или он взаправду так думает, или надо мной смеется...

Теперь, как говорится, задним числом, мне вообще многое понять хочется.

Взять мужа моего, Ленькиного отца,— человек был тихий, мухи не обидит. Чего он в жизни знал? Часы. И все. Мог сутки ковыряться. И ничего вроде больше ему не требовалось. К тому же — восемьдесят четвертого года рождения. Выходит, когда война началась, пятьдесят семь лет ему было. И здоровьем никогда не отличался. Так вдруг на тебе — ухажу на фронт.

Никто его не призывал, не мобилизовывал, сам решил. Я, конечно, понимала: война каждого касается. И все-таки в толк не могла взять: ему-то что там на фронте надо? Спрашивала. А он? Только и сказал:

— Я как народ.

И понимай как хочешь. Народ-то с войны вернулся, а его я в последний раз двадцать седьмого августа видела. И могила не знаю где.

В сорок девятом Ленька возил меня по местам боев на машине. Где лес, где поле, и кругом трава высокая-высокая... Тогда еще окопы хорошо видны были и эти, как их, противотанковые рвы...

Над могилами пирамидки с красными звездочками стояли, где написаны имена, а где и нет.

Удивил меня Ленька. На каждую могилку, что на пути попадалась, цветы клал — нарвет и положит. И из именного пистолета палил. Я спросила:

— Чего ты зря в небо палишь? Мало, что ли, на войне настрелялся?

А он:

— Салют, мать,— говорит,— салют...

Этого я тоже не понимаю. Мертвым ведь все равно, что тишина, что шум, а стрелять нехорошо.

В бога я с малых лет не веровала. Был бы он — бог,

так разве допустил, чтобы люди так жили, как мне сызмальства довелось? Никогда! А все-таки правильно нас учили: на кладбище не шумят. Почтение должно быть к мертвым. И нечего над могилами палить. Салют! Да кому он нужен, если убитые его все равно не слышат?

Вперед я забежала. Так всегда — начнешь про жизнь думать, и никак не получается, чтобы все по порядку вспомнить. Обязательно через ступеньку, через ступеньку скачешь, а где и кувырком.

День Победы я хорошо запомнила. Проснулась чуть свет от шума. Подумала: где шумят? Вроде на улице. Встала с постели, к окну подошла. А надо сказать, аккурат против наших окон — ресторан. Глянула и ничего понять не могу: посреди улицы повар в белом колпаке, в фартуке, с ножами в руках пляшет. А люди, какие на улице оказались, смеются и плачут...

А в обед письмо получила. Вот оно — храню.

«Милая мама! Пожалуйста, за меня не беспокойся, дело к концу идет. И у нас такое превосходство в силах, что сомневаться не приходится: месяц, другой — и конец!

Работаем сейчас много. Погода помогает, да и обстановка тоже, только теперь работа у нас совсем другая стала — веселая! Летаем на поддержку наземных войск. Красота. И в небе никакого противника нету, и зенитный огонь совсем не сильный, не тот, что раньше был.

Вчера я сделал шесть вылетов и почти не устал.

Долго мы таких времен, мама, дожидались, дорого заплатили за чистое небо и радуемся и ждем окончательную победу, и думаем, как вернемся домой».

Прочитала я письмо. Сперва обрадовалась. А как на число поглядела — четвертое апреля, — так сердце и зашлось. Выходит, месяц и пять дней тому назад он жив был. А сегодня?

Люди радуются. Песни на улицах играют. Салют во все небо. А я места не нахожу. Хожу тадаю: жив — не жив, жив — не жив...

За все четыре года войны, что он на фронте был, так не переживала, как в ту весну, уже после Победы.

Вскоре от Леньки еще открытка пришла:

«Дорогая мама! Вчера первый раз пролетел над Берлином. Ну, я тебе скажу, картина — такого пожарища за всю войну ни разу не видел. Едва ли, кто эти дни переживет и целым останется, в ближайшие сто лет захочет еще раз войны попробовать. Обнимаю тебя. Надеюсь, до скорой, теперь уже совсем скорой встречи».

Вот говорят, материнское сердце беду чувствует. Может, оно и так. Только я ничего не заподозрила. Открытка была без числа. И я почему-то решила: «Слава богу, теперь все. Конеч. Живой».

Живой он верно остался, только после этой открытки уже, четвертого мая, Леньку все-таки ранили. Не больно сильно его осколком зацепило, но все же руку портило.

А я в это время ходила и вместе со всеми радовалась, и ничего такого не подозревала.

Увиделись мы только осенью.

Я пол наладилась было мыть, когда он заявился. Худой-худой и загоревший, как негр.

Ясное дело, сначала я в слезы, а он смеется...

Стала на стол собирать, забегала. И никак себя в руки не возьму — все во мне в разные стороны дергается.

Потом, к вечеру уже, у нас с Ленькой длинный разговор вышел, может, самый длинный за всю жизнь. Вообще-то он не разговор, не в отца пошел. А тут об чем только не перетолковали. И про жизнь свою в эвакуации я рассказывала, и он мне про войну, и отца вспо-

нили, и всех соседей да родных перебрали. И чем он меня тогда удивил — стал вдруг про дедов своих расспрашивать. Помнится, так он сказал:

— Конечно, мы, мать, не родовитые, но ведь и не безродные, расскажи-ка про моего и своего деда тоже.

Мало что я могла рассказать, мало. Ну жили, были, работали. Кто слесарил, кто кузнечил. Мастеровые...

Потом, когда время прошло, он больше никогда меня об этом не спрашивал, а тут слушал, видно, соображал чего-то. По лицу его было видно — соображает.

А совсем уже ночью я спросила, что он дальше делать собирается, по мирному времени, значит? Успокоил меня:

— В армии,— сказал,— не останусь.

У меня, что греха таить, камень с души свалился. Летать ему, может, и нравилось, да решила я, налетался, видать, досыта.

А матери, что ни говори, как ни рассчитывай, все же спокойнее, когда сын, хоть и в мирное время, на земле сидит.

— Жениться надо,— это тоже он сказал.

Мне это «надо» не понравилось.

Как понимать «надо»? Есть, что ли, на примете кто? Или, может, подошло время грехи покрывать? Приперло?

Он засмеялся и говорит:

— Нет, мать, не потому надо. Не потому. Вон сколько мужиков на войне этой полегло. Новые нужны...

И эти его слова мне не понравились. Но смолчала. Подумала: «Ладно, разберемся».

Только ни в чем разобраться мне не пришлось.

Дальше все кувырком пошло.

Куда-то он уезжал, возвращался, все по телефону названивал. Толком и не понять, чего добивался, чего искал. Потом сказал, что его не будет месяца полтора, а вернулся через две недели. И ее привез.

Грех мне про невестку плохое говорить, только все из памяти не идет, как они тогда вошли. Ленька в старых военных штанах, в куртке кожаной, она — в юбчонке серенькой, в ватнике нараспашку, и он сказал:

— Знакомься, мама, моя жена Клава.

Ну, не знаю, может, по военному времени — война, правда, уже кончилась, но все равно жизнь еще как при войне шла — так оно и должно было быть. Но почему-то сделалось мне ужас как обидно. Однако слова плохого я им не сказала. Поздравила. Поцеловала невестку... И она сразу «мама» мне говорить стала и начала в доме хозяйствовать.

Толково все делала, быстро, ловко. А у меня на сердце камень лег. Все себя спрашивала: ну куда ты, девка, торопишься? Ведь никто тебя не гонит... Может, я чего лишнего наговариваю, вполне возможное дело, только не так мне Ленькина женатая жизнь в мечтах виделась.

С неделю они у меня прожили, а потом Ленька сказал:

— Спасибо, мама, за приют, за ласку, комнатушку нам от завода дают, так что в субботу будем перебираться.

Очень я удивилась, чтобы по тому положению так сразу и комнату. Подозрительно показалось. Спросила:

— Кто же это вам такое счастье отвалил?

— Завод, — говорит, — завод выделил.

— Так ты что ж, в директора нанялся? — спросила я.

А он говорит:

— Зачем в директора, какой из меня директор. Летчиком.

Ушли они с Клавой — чемоданчик и сетка-авоська — все их имущество, а я осталась.

И хоть понимала, что работу он сам выбирал, а не жена его пристраивала, все равно нехорошее у меня чувство к Клаве осталось. Дескать, для тебя Ленька

опять летать пошел. Только я тогда еще не знала, что за летание его на том заводе ожидало.

Это уже позже известным сделалось: взяли Леньку в летчики-испытатели. Не очень-то я разбиралась, какая это работа, только чуяла — дело страшное. А тут еще соседка, про Ленькину должность прослышавши, книжечку мне принесла «Летчик-испытатель». Написал ее не наш — американец. Коллинз фамилия. Стала читать, вроде даже веселая книжка. Чего с ним, с тем летчиком-испытателем, ни случилось, а он все с улыбочкой рассказывает. А как дошла до конца, как прочитала рассказ «Я мертв», так сердце и зашлось. Ночь не спала.

На другой день собралась и пошла к Леньке. Сама не знала, что ему скажу, только решила — молчать не буду.

Ну, приехала, захожу. Комнатка маленькая, светлая. Занавесочки из марли повешены. Матрац широкий: на кирпичках поставлен и шинельным сукном покрыт. Три табуретки. Одна красная, другая желтая, третья зеленая. Гардероба нет. К стенке гвоздики прибиты, и тоже марлевая занавесочка задернута. Чего из мебели у них было, один стол. Богатый обеденный стол.

Леньку дома не застала. Клава мне сказала: на аэродроме он. И сразу заколготилась — чаем меня поить. Ну, ясное дело, разговоров мы в тот день целый короб переговорили.

И что же?

Поняла я — Клава работой его недовольная. И сто раз говорила: бросай это дело, хватит. На войне что мог отдал уже. А он ничего слушать не хочет.

Еще узнала, ребенок у них будет. Живут вроде хорошо, только мало Ленька дома бывает — летает, на заводе толчется, вечерами куда-то учиться ездит.

Так в тот день и не дождалась его.

Ко мне он приехал не скоро. Вошел, увидел на тумбочке книжку «Летчик-испытатель» — так у меня эта книжечка и присохла, — засмеялся:

— Или ты, мама, во вторые пилоты ко мне собираешься?

Мне бы разозлиться и все ему выложить, а не вышло. Стала спрашивать, не устал ли он волноваться да переживать и неужели не боится?..

А он давай меня успокаивать. Говорит: а я и не волнуюсь, и не переживаю. Привык. А про страх совсем интересно объяснил: страх он, конечно, у каждого человека есть, только и со страхом справиться можно, если свое дело хорошо знаешь. И вроде это даже приятно. И пусть я даже половины слов не запомнила и не все поняла, только по лицу его видно было: работой Ленка довольный и по своей воле никогда ее не бросит...

Прямо так и скажу: счастливый он ко мне приезжал тогда. Молодой. Светлый и лицом и глазами. Дай бог только таким его и видеть.

Он уехал. А я долго еще про него думала. И может, первый раз в жизни пожалела, что в бога не верю. А то бы помолилась за Ленку и попросила, чтобы дал он Ленке удачи, чтобы не отнимал у него радости. А если по судьбе ему и придется убиться, то пусть сделает, чтоб он не мучился, а сразу, в момент — и нету...

Виделись мы редко.

Сначала он курсы закончил. Потом в институт поступил. В вечерний. Тут время подошло, Клава родила сына. Алексеем назвали. Хороший получился мальчишка — беленький, здоровенький.

В те годы я в поликлинике работала регистраторшей. И хоть сердце у меня пошаливало и ноги пухнуть стали, на пенсию уходить не хотела.

Пусть зарплата маленькая, пусть другой раз и не вмоготу на службу тащиться, а все-таки... Я сама по себе. Ни от кого не завишу. Живу как хочу.

Знаю, Клава очень на меня обижалась, что не пере-



езжаю к ним и внука не нянчу. И так ко мне подъезжала, и этак. Вроде всем выгоднее и спокойнее было бы, и она работать сможет... Но я не поддаюсь, а так ей и сказала:

— Можешь на меня обижаться, Клава, но я хочу в своем доме умереть. Я привыкла хозяйкой быть, пусть даже и без хозяйства, но сама себе госпожой. Свекрови, Клава, хорошими не бывают. Так уж лучше я вдалеке буду плохая, чем с тобой на одной кухне.

Не стала я ей рассказывать, чего в свое время от своей свекрови натерпелась. А наука у меня была — не дай бог, врагу не пожелаю. Только дело это внутреннее, семейное. Пусть Клава моему сыну сто раз жена, а для меня она все равно человек посторонний. И сколько она меня мамой ни называй, я ее за дочку не считаю и считать не могу.

Теперь думаю иногда: а как Ленька к этому отнесся? И не пойму. Прямо он мне ни разу не сказал, чтобы я к ним переезжала или что помощи от меня ждет. Но намекал.

Года через четыре они квартиру получили.

Ленька приехал и говорит:

— На троих нам три комнаты дают, а на четверых можно бы и четыре взять.

Ну, я сделала вид, что не поняла, к чему он клонит. Спросила:

— Так в чем же дело?

— Так четвертого-то нету.

— Нету? Ты же после войны собирался много мужиков народить вместо тех, кого убили...

А он только головой покачал:

— Тут одного моего хотения, мама, недостаточно.

И не пожаловался, а я почуяла — не все у них с Клавой так гладко да складно, как со стороны кажется.

Новую квартиру им дали трехкомнатную. Богатая

была квартира, с двумя балконами, со всеми удобствами, светлая, просторная.

Ленька старался все обладать, чтобы и удобно и по моде. В Ригу даже за кухонной мебелью летал. И шкафы в коридоре сам делал...

И вот чудно получается — про квартиру его я могу все рассказать: какая мебель в какой комнате стоит, какая посуда в каком шкафу находится, и чем ванна украшена, и какой ковер они в залу купили. Все помню. А про работу его одно только слово скажу — летает.

Да-а, днем летает и ночью. В хорошую погоду и в плохую. Без воскресений и суббот.

И когда ко мне люди пришли с поздравлениями, так я даже не сразу понял, что случилось.

Как, думаю, Леньке Героя дали? За что? На войне вон как старался, а только до капитана дослужился, а тут вдруг — Герой...

И это тоже мне обидно: приедет ко мне, обязательно чего-нибудь привезет: или торт, которого я, правда, терпеть не могу, или конфеты, или чего в дом и денег обязательно оставит. А разговора настоящего нет. Так, слова одни пустые!

И спешит. Всегда спешит, будто собаки за ним гонятся.

А я к ним поеду, так редкий час, чтобы в их доме посторонних не было. Все гости да гости... Знакомые, товарищи... А при чужих какой разговор — одна видимость. Позанимаюсь с Алешкой, с внуком... да бабушка я не больно-то старательная. Нету у меня перед Алешкой-крошкой умиления, что ли... Ну маленький он, маленькие все вроде хорошие. Только, честно сказать, другая забота из головы не идет — есть у меня сын и вроде бы нету... Вот и спешу к себе, а в последнее время все больше об этом думаю, каким Ленюшка мой мальчишкой был.

В дядьке своем, в отцовом брате, Ленька души не чаял. А почему?

Хороший он человек был, верно. Любому последнюю рубашку отдаст. Непьющий. Механик первой руки. Все при нем. Только серьезности никакой.

Помню, день рождения нашего отца праздновали, он ему в подарок токарный станок приволок. Маленький, настольный. Специально для часовой работы. А еще книгу бухгалтерскую притащил, вроде в придачу. И при людях насмеялся: вот, дескать, можешь теперь частную фабрику открывать.

И понимай его как хочешь — на станок не пожалел, а он больших денег стоил. Да и еще не сразу такой найдешь. И тут же родного брата обсмеял...

Или другой пример: уехал он на юг отдыхать. А в ту пору у жены его Нюры именины подошли. Так он сумел, как уж изловчился — не знаю, телеграмму в Елисеевский магазин отбить и заказ с доставкой на дом наладить — шампанское там и закуска всякая человек на десять.

Когда вернулся, Нюрка его и спрашивает:

— Или ты ошалел, куда мне столько?

А он отвечает:

— Мне не то важно, сколько ты выпила, мне надо было знать, сколько бутылок останется...

А ведь в годах оба были, бездетные, и жили хорошо. А такое вдруг ему в голову стукнуло!..

Цветы он ей все таскал, снопами прямо.

Ну, цветы-то цветами, только я точно знаю — случая не упустит, чтобы хвостом крутнуть. Правда, все у него всегда шито-крыто было. Раз спросила, чего это он все молодится да больно проворно глазами по чужим бабам шнырит, он и сказанул:

— Единожды живем. Чего теперь не успеешь, потом не догонишь...

Леньку любил страшное дело как. И в цирк его таскал, и на лыжах, и подарки дорогие делал — велосипед, помню, прикатил, потом костюм, потом, когда Ленька в аэроклуб записался, сапоги хромовые...

И Ленка в нем души не чаял. Только не за подарки к нему льнул. Нет. Вольность жизненная в дядьке ему правилась — без счета, без расчета существовал, про завтрашний день сроду не думал. Смолodu я и сама такая была. Это уж потом во мне что-то переломилось, стала под отца нашего подстраиваться...

Дрался он в школе. И конечно, жаловались на него. То меня вызовут, то записку пришлют: разберитесь, дескать, повлияйте. Стану спрашивать:

— Скажи, Леня, за что ты того мальчика побил?

А он упрется бараном и молчит. Измучишься, пока слово вытряхнешь. И всегда получалось, будто он за правду воет. Один со всем светом.

Стану говорить, да разве ж можно хорошее кулаком в людей вколачивать? Пусть ты и прав, только ведь битьем ничего не докажешь.

— И не надо,— скажет,— а так тоже нельзя, чтобы неправда тебя кулаком, а ты ее — языком. И не я первый задрался, он сам.

Верно, сам он редко первым лез.

Иду я давеча домой и вижу: на моем окне какой-то мужчина в полный рост стоит и чего точно там делает, не разобрала, только понять успела — в раме ковыряется. Не сказать, чтобы испугалась — красть в моей комнате нечего,— а все же неприятно. Подхватила — и бегом. Дверь настежь. По полу провод протянут, а человек тот, как меня увидел, на окошке и застыл.

— Ты чего тут делаешь? — спрашиваю, а у самой сердце так и трясется, так и трясется.

А он смеется и отвечает:

— Не сердитесь, мамаша, я вам телевизионную антенну налаживаю...

— Какая я тебе мамаша, какую антенну? У меня телевизора и в помине нет.

— Нет, это верно, но сегодня,— на часы поглядел,— сегодня в восемнадцать ноль-ноль будет...

Разозлилась я и как крикну:

— А ну слазь с окошка! И отвечай сейчас же: кто тебя в комнату пустил?

Слезть он, правда, не слез, но присел на подоконнике и ноги свесил. Спрашивает:

— Может, вы сначала со мной познакомитесь? Меня зовут Ньюма, а фамилия — Рутберг, я с вашим сыном работаю, инженер. Леонид Яковлевич команду дал — к восемнадцати ноль-ноль антенну наладить...

— А замок ломать тоже он велел? — спрашиваю. Смеется.

— Разве это замок, мамаша? Так, фикция! И никто его, между прочим, не ломал, аккуратненько — гвоздиком — раз и, пожалуйста...

— Гвоздиком? Ты что же, в институте гвоздиком замки открывать научился?

— Ну что вы, в институте этому не учат. Сам дошел, исключительно сам, когда до войны еще голубей таскал...

И тут он поплел такое, что я и не знала — смеяться мне или плакать.

Сколько я с этим инженером разговаривала, не скажу, только верно, в шесть часов заявляется Ленька. С ящиком.

— Вот, мама, владей, — говорит, — привез тебе телевизор. Сейчас наладим и зачет по эксплуатации у тебя примем. А ты все чикаешься? — Это он у Ньюмки своего спросил. — На сдельщину перевести, с голодухи ноги протянешь.

— Помехи, командир! — отвечает этот инженер и ржет. Ох и здоров он смеяться. Чуть что — зубы показывает.

Вдвоем они еще с полчаса повозились и включили. Скажу, такого здоровенного телевизора я в те поры ни у кого не видела, и без линзы, и экран как в кино. Не знаю, сколько Ленька за него заплатил и где раздобыть исхитрился.

Включили и начали меня обучать, где громкость ре-

гулировать, как картинку вверх-вниз подвигать, чего повернуть, чтобы не мелькало...

Раз, наверное, пять переспросили, а потом Ленька говорит:

— Все, мама. Пользуйся. А мы помчались.

Куда, думаю, им мчаться-то? Посидели бы как люди. Сказала:

— Ящик привозить нашли время, а с матерью посидеть — нет?

И тогда Ленька объясняет, что он сбежал: живет, мол, сейчас на казарменном положении при аэродроме, и по правилам ему никуда отлучаться не полагается. К воздушному параду он готовится. А телевизор, значит, для того и привез, чтобы я в воскресенье могла посмотреть, как он над Тушином летать будет...

С тем и уехали. Даже чаю не попили.

А в воскресенье посмотрела я, как он на празднике кувырчался и что там в воздухе выделял!

Лучше бы и не видеть того. Страх и ужас!

Да еще диктор все подговаривал, какой он, значит, грозный, его самолет, да что на реактивной машине такой полет впервые в мире исполняется...

В воскресенье это было, а на другой день, в понедельник, значит, в газете — указ. И Леньке моему вместе с другими испытателями Героя присвоили. Только я думаю, не за один этот полет, а вроде как по совокупности. Просто к празднику приурочили, чтобы объявить.

Вот с тех пор и ходят ко мне люди — взрослые, пионеры — и все просят: расскажите да расскажите... А я думаю, если он так каждый день летает, то лучше мне умереть поскорее и не дожидаться, пока он угробится...

Не специалист я, конечно, в его деле, но думаю, такое долго продолжаться не может — или машина его не выдержит, или сердце лопнет...

На другой день я с работы отпросилась и к Леньке поехала прямо с утра. Примчалась, а у них народ. Ви-

но пьют. Гуляют. И конечно, никакого разговора опять не получилось. Только на кухне у Клавы спросила:

— Видела, как он давеча на аэродроме выделявал?

— Нет,— говорит,— не видела. К соседям он не велел ходить, чтобы зря не волновалась, а свой телевизор неисправный у нас.

— Неисправный? Чего же его инженер, Ньюма этот, починить не мог?

— Приходил, сказал, трубку менять надо, но таких трубок в магазине нет. А что, мама, страшно было?

— Красиво,— сказала я,— хотя, если без привычки смотреть, боязно все-таки.

Нет, Ленка тут, ясное дело, не виноватый. Только сердце с того времени у меня хуже болеть стало. Ничего-ничего, а потом как припечет, вроде горячий утюг на груди, и дышать трудно.

Ходила я к врачу, к терапевту нашему Надежде Михайловне. Душевная она женщина, обходительная и доктор, говорят, понимающий. Послушала меня Надежда Михайловна и стала объяснять, какие да где, значит, изменения имеются. Капли прописала, велела тяжело не поднимать и быстро, особенно по лестницам, не ходить, отдыхать побольше...

Ну, пью я капли эти и бегать стараюсь меньше, только, ежели честно сказать, нисколько мне от того не легче. Прихватит — и свет не мил.

Вспоминаю теперь, как в госпитале ташкентском за летчиком майором Васей Хитруком я ходила. Плохой он был совсем — легкое прострелено и позвонок задет. Мучился — страшное дело. Вступит у него, так, бывало, аж зубами скрежешет.

Один раз сказала я:

— А ты, Вася, не терпи, не надо, постонал бы, покричал лучше. Легче будет.

Так он что ответил?

— А люди?

Действительно, в палате двенадцать человек их лежало, все тяжелые. Не хотел других беспокоить. Ну а мне-то жалко его, спасу нет, так жалко, я опять говорю:

— Неужели люди тебя осудят, Вася? Не поймут? Сами маются, самим тяжело, никто на тебя, Вася, в обиду не будет.

— Нет, мать, подлое это дело — свою боль на других перекладывать. Особенно когда другие помочь не могут...

И ведь выжил. Летать, правда, больше не пустили, а служить в армии еще долго служил. Писал. Академию закончил. Преподавателем оставили. Теперь небось генерал.

Очень я за него переживала тогда, в Ташкенте. И все мне казалось, будто он с Ленькой на одно лицо, только постарше годков на шесть, на семь.

Потом, когда он выписался и уже из Москвы карточку свою прислал, стала замечать, что лицом они с Ленькой вовсе и не похожие. Если только — характером.

Часто я теперь Васю Хитрука вспоминаю. Как прихватит, будто утюг на груди жжет, — так сразу он перед глазами.

Откуда слухи появляются и по свету ползут, не знаю. Сплетничать я смолоду привычки не имела и не больно к чужим наговорам прислушиваюсь. Взять хотя бы, когда мой в Таганрог укатил. Сколько соседок мне шептать стали: неспроста, неспроста это его в теплые края потянуло. А я — ноль внимания. Раз сказал, что едет какие-то старинные часы там восстанавливать, пусть так и будет.

Веры нет — жизни нет.

Поэтому, когда до меня дошло, будто Ленька какую-



то врачуху завел и вроде купаться с ней в Крым ездил, я эти разговоры — мимо ушей.

И раньше я в его семейные дела никогда не лезла, а тут и вовсе. Пусть, решила, сами разбираются. У них я, правда, бывала не очень чтобы часто, но все же ездила. Погляжу, вроде тишь да гладь в доме. И Клава, как всегда: мама, мама... и Ленька, как всегда, шутит...

А потом он вдруг приехал ко мне в три часа ночи.

Сначала я сильно испугалась, подумала: ну, беда. Спросила, что случилось? А он сказал, что никакой беды нет и вроде бы у него что-то с автомобилем получилось, вот он автомобиль и запер, а сам ко мне, как до меня ближе было.

Постелила я Леньке на диване. С разговорами приставать не стала. Ночь. Он сполоснулся на скорую руку и лег.

А слышу, не спит. Ворочается. Долго не спал. Сколько, не скажу — сама я притомилась и уснула. Утром встала тихонько, он и не слышал. Поглядела ему в лицо, и хоть плачь — такое обиженное лицо было, просто даже не сказать. Только у него маленького я такие губенки видела.

Будить, думаю? Жалко. И на работу мне пора.

Взяла, значит, бумагу и написала:

«Леня, если что, не думай, приходи в мои хоромы. Не осужу, что бы ни было. В тесноте, да не в обиде».

Врать не буду, работала весь день, как всегда, не переживала, нисколько не маялась и даже возвращаться домой не спешила. Свое слово сказала. Ото всей души ему предложила, а дальше как хочет, сам должен решать.

Правда, когда к дому подходила, что-то вдруг в груди у меня закололо, съежилось.

Смотрю на дверь — замок. Ключ в условном месте, на счетчике электрическом лежит. Отомкнула, вошла в комнату. Постель с дивана прибрана, одеяло, про-

стынки на стуле аккуратно сложены. Это у него с детства — за собой убирать. Стаканы, тарелки нетронутые. Ушел не евши. Записка моя на столе.

«Неужели не заметил?» — подумала.

Нет, заметил. Его рукой приписано:

«Спасибо, мама, знаю, ты ни за что и никогда меня не осудишь. А я сам? Вот в чем вопрос...» Что-то он еще было написал, но зачеркнул.

Чем там у них дело кончилось, да и было ли чего серьезное, не знаю. Никакого разговору промежду нами никогда больше не было. И записку ту я порвала. Но другой раз начну воображать, а как бы все повернулось, если б Ленька и правда от Клавдии к той докторше ушел или пусть даже не к той докторше (может, ее и не было!), а вообще к другой женщине?

Не люблю я невестки, не люблю, хотя и не показываю ей того. И вот гадаю, что бы тогда было. А потом на себя и разозлюсь. Чего зря нервы портить, когда все равно часы назад не ходят? Этого даже наш отец наладить не мог, хотя уж какой мастер был!

А чем невестка мне не по душе — скажу.

Бывают на свете женщины, а бывают бабы. И не от образования это вовсе зависит. Другая хоть профессорша — а баба. А есть хоть и домашняя жена, ничего, кроме детей и кухни, вроде не знающая, — женщина. Она мужу и дом поставит, и совет верный даст, и, когда надо, — промолчит... У женщины душа умная, понимающая. И это — большое дело! Так вот, Клавка — баба.

Верно, любит его, из кожи вон лезет, чтобы все хорошо было. Только полной веры у меня к ней нет. Случись у Леньки неприятность какая, не знаю, сумеет она помочь или не сумеет. Едва ли...

Когда в тридцать втором отца нашего арестовали и обвинение против него сделали, будто он золотишком приторговывает, я со страху чуть не померла. А чего испугалась? Знала ведь, что он ко всяким комбинациям — купить-продать — смолоду тяготение имел. И

подумала: а ну-ка не зря ему такое обвинение сделали? Ну-ка он от меня в секрете и правда какие-нибудь шахер-махеры завел? И все-таки пошла к следователю, и такой там крик подняла, и графин об пол шарахнула — да как, дескать, вы смеете на честного человека клепать? — что его в тот же вечер отпустили. Еще и извинились.

Он мне тогда ночью сказал:

— А ты вот, оказывается, какая. Не знал и не думал даже.

— Какая уж есть. Если не гожусь, поезжай в Таганрог. Дорогу вроде знаешь...

Долго он молчал. Чего в голове своей соображал, не знаю, а потом спросил:

— Ну а если бы оказалось, что донос на меня правильный, тогда как?

— Вместе бы и отвечать. Муж и жена — одна сатана.

Так с тех пор он, когда разозлится, бывало, и кричит мне:

— А ты, сатана, не в свое дело не лезь!

Только я все равно лезла. Не понимала того, чтобы у него свои дела, а у меня свои были.

Может, я зря Клавдию осуждаю. Может, напрасно. Как говорится, фактов у меня никаких нету. Да и рада бы знать, что подозрения мои напрасны, только и таких примеров, чтобы по-другому об ней думать, я не вижу.

Когда Ленке Героя дали, никаких мыслей у меня, что он возноситься станет или больно много о себе воображать, не было. Такого не ждала от него. А все-таки интересно, как он под Золотой Звездой ходить станет.

Видела я разных людей и знаю: не каждому по плечу почет и уважение выдержать.

Взять Пахомова — начальником у него на фронте был, — ну до чего аккуратно себя держал. Чтобы как-нибудь показать, я главный, заслуженный — никогда! Верно, я на него рассердилась, когда он сомнительную

девицу в мой дом привел. Но то другое дело, с кем греха не бывает. А так — очень даже правильный человек.

А вот другой Ленькин командир — Пилевин его фамилия — совсем не то. Верно, Ленька его сильно уважал и говорил, будто жизнь тот ему не раз спасал. Может, оно так. Ленька врать не приученный. Однако уж больно высоко себя этот Пилевин ставил, высоко...

Только я не о Пилевине рассуждения имею, а о самом Леньке. Вскоре после парада надумал он мебель в мою комнату новую купить. Я против была. На что мне эти серванты да хельги разные? Не приученная к ним. Но он впиявился, как клещ: купим да купим.

Я сказала Леньке:

— Или тебе от людей совестно, что мать не во дворе живет? Бойшься, при новом твоём звании осудить могут?

Ох как он разозлился:

— Не говори глупостей, мама! Просто я хочу, чтобы у тебя все было...

Ну, «глупости» я ему простила, не со зла, а в сердцах брякнул. Но спрашиваю:

— Ладно, положим, новые вещи ты купишь, а старые куда денем?

— Старые? А куда их девать? Выбросим...

— Как же так, выбрасывать? И шкаф еще хороший, и стол крепкий, не шатается. Люди же те вещи делали, старались, а ты говоришь — выбросим. Нет, Ленька, не согласная я ничего выбрасывать. Не согласная.

— Тогда продадим давай.

Вроде бы ни на чем наш разговор закончился, а дня, наверное, через три приезжает на машине, чтобы свезти меня в магазин. В комиссионный, в мебельный. Прицениться.

Поехали. Проваландались там часа два. Цены у них — смех: хороший дубовый стол на резных ножках, с раздвижной крышкой, несколько не побитый, еще сто

лет простоят — вровень с тумбочкой для телевизора идет, хотя тумбочка — фанера облакированная!..

Вышли мы из магазина — Ленька смеется, поддразнивает меня, ну, как, мол, торговля. А я расстроенная.

Тут я и не заметила, откуда, подходит к Леньке пожилой, чисто одетый дядька и, на куртку его кожаную обтрепанную глянув, спрашивает:

— Ты шофер?

Ленька отвечает:

— Возможно, а что?

— Машину мою не глянешь? Что-то не запускается.

— Можно,— ответил Ленька и мне: — Ты в машине подождешь или погуляешь?

Не люблю я в машине долго сидеть. Душно. Сказала, что погуляю. А он пошел. Что там поломалось, не знаю, только Ленька минут за двадцать все наладил и мотор запустил.

А дальше между ними такой разговор вышел.

— Сколько с меня? — пожилой этот дядька спрашивает и достает бумажник.

— Сколько дадите,— отвечает Ленька.

Я прямо обомлела. Неужели, думаю, он с него деньги возьмет?

— Что значит «сколько дадите»? — спрашивает тот. — А если я вам рубль дам?

— Ну что ж, придется взять и сказать спасибо.

— Но ведь это не по совести будет, неудобно,— говорит и бумажник в руках вертит. — А сколько ты зарабатываешь? — спрашивает.

— В среднем, на круг,— отвечает Ленька,— двести рублей в день.

Тот не удивился, слова против не сказал, вроде даже обрадовался и стал считать:

— Двести в день. Четвертак — в час. Значит, за двадцать минут третья доля полагается. Вот держи. — И подает Леньке восемь рублей — пятерку и трешник.

Отошли мы с Ленькой к нашей машине, я и говорю:

— Ошалел ты, что ли? На кой тебе его деньги?

А Ленька смеется:

— Жулик он. Деляга. Пусть платит. А я честно заработал. Вот ведь гад, на машине ездить — пожалуйста, с нашим удовольствием, а ручки запачкать стыдно. Пусть платит.

Потом, когда мы с полдороги уже проехали, Ленька вдруг как хмыкнет, я даже вздрогнула.

— Ты чего? — спрашиваю.

— Жалко, мало сказал. Надо бы объявить, что полтысячи в час зашибаю. Поверил бы, морда толстая, он ведь в другом масштабе цен живет...

Не скажу, чтобы отец наш деньги любил, неправда это будет. Но почтение к казначейскому билету имел. «Копеечка рубль бережет» — любимая его поговорка была.

А вот в Леньке ну никакого уважения к деньгам нет. Заработал, промотал, роздал и не знает кому, и не помнит сколько.

Другой не поверит, а ведь бывает, ко мне заезжает и, как маленький, ей-богу, просит:

— Мама, дай пятерочку до получки. Пятнадцатого отдам.

И между прочим, всегда отдает. Если сказал пятнадцатого, уж будь спокойна — пятнадцатого и отдаст.

А тут я ему раз сказала:

— Что это ты у меня занимаешь, Лень? Деньги-то твои, нужно, бери, и чего говорить — до пятнадцатого или до тридцатого?

Обиделся. Мальчику, говорит, скоро сорок, а ты что же, из меня иждивенца сделать хочешь? Это он-то иждивенец! Смешно. А вот такой характер.

И чему я радуюсь — не заработкам его, дорогие Ленкины рубли, потом оплаченные, страхом, который он ото всех прячет, — характеру его радуюсь.

Слава богу, не в отца пошел.

Легкость в нем от дядьки, а может, и от меня.

Да-а, характеру его радуюсь. И тому еще, что не портится Ленькин характер с годами и от славы не худшает. Мне это вроде как награда, как медаль за мой труд.

Недавно меня прихватило до того круто, думала — все. Хорошо, соседка заглянула, «неотложку» вызвала. Укол сделали, таблеток оставили, велели лежать. Вот и лежала колодой, и все думала, думала...

Вроде и не старуха еще — шестьдесят только зимой будет, а жизнь, можно считать, прожита. И не скажу, что больно мне помирать страшно, а все-таки неохота.

И Леньку жалко.

Кто не понимает, скажет: чего его жалеть? Мужик на ногах при деле, семью имеет, какой ему от матери прок? Если у кого такое мнение, оспорять не стану. Пусть. Каждому вольно на свой манер мечтать. Но я по-другому соображаю.

Вот он маленький был — какая обида ни зацепит — от отца или от школы или просто — случай, — к кому бежал? Ко мне. И я к нему подход знала. Кричать на него, вычитывать — такой ты да эдакий — пустое дело. Только пуще зло его брало, и сам себе наперекор норовил сделать. А если с ним по-хорошему, тихонько — Леня-Ленюшка — и похвалить и пожалеть, так ведь и извинится, и все как надо исполнит.

А вырос, так что же?

Хоть и летчиком стал, и на войне всего насмотрелся, только сердцем он нисколько не постарел.

Был у него на работе начальник, вроде и сейчас над ним командует — Самарский. До того Леньку доводил, что у него, бывало, руки тряслись... А я откуда про это знаю — сам рассказывал. Приехал однажды и говорит:

— Вот, честное слово, мама, если так дальше пойдет,

набью ему морду при всем честном народе, и пусть после того меня судят...

Я, конечно, спорить не стала. Спрашиваю, что он, значит, за человек тот, Самарский, и чем фактически мешает Леньке жить? Пока он толковал о нем, да все с примерами, все с примерами, гляжу, успокоился и про битье уже не говорит. А человечешко, Самарский тот, видать, и правда дрянь. Все норовит гордость свою выказать, а если что не так, на других свалить. Дескать, я велел, указывал, предупреждал, а они меня не послушали. Такого голыми руками не возьмешь.

Ну-у, подумала я, подумала и говорю Леньке:

— Вот что я тебе посоветую, сынок,— унизь ты его, принародно по его же, по ученой части. Как — не знаю, ты больше моего понимаешь, только сделай, чтобы все над ним надсмеялись. Разозлится он, зашипит, станет бояться тебя. Вот увидишь.

А потом мне Ленька рассказывал, как он, значит, того Самарского припечатал. Только я не все поняла — разговор у них особый был, научный. Но смысл все-таки ухватила.

На совещании, стало быть, Ленька встал и спросил, почему какие-то там расчеты сделаны по старинному способу, а не как теперь во всем мире делают? И называет французского профессора Шамбарьера — я даже запомнила такую чудную фамилию! И, к Самарскому обращаясь, так это с удивлением говорит, я, дескать, просто поверить не могу, чтобы наш, значит, начальник не в курсе был и с последними работами этого профессора не познакомился. И чего-то еще лепит.

Все слушают, ничего не понимают, но, на Ленькину нахальную рожу глядя, головами качают, мол, как же, знаем, правильно.

Тут дошла очередь отвечать Самарскому. Он мужик ушлый, в спор не полез, а стал объяснять, что все статьи того профессора давно изучил, знает, и остановка теперь за какой-то там Марьей Ивановной, инженершей, что в



декретном отпуске загулялась, а он, дескать, давно уже ей указания дал всю шамбарьерскую науку превзойти и внедрить...

Так он разливался курским соловьем, а Ленька возьми и пусти по рядам записочку, открытую, между прочим, чтобы, пока до Самарского дойдет, и другим известная стала. И написал он в записочке так: «А шамбарьер — это кнут, которым лошадей в цирке гоняют! И никакого такого профессора на свете нету».

Ну, ясное дело, кому после того смех, а кому и слезы.

Очень я смеялась, когда Ленька мне эту историю рассказывал, и подумала; пусть я грамотой Леньки не достигла и не достигну уже, а все-таки совет подать могу. Чего голова не сообразит, сердце подскажет.

И Ленька знает — кто-кто, а я его не подведу...

Или другой случай был.

Штурмана ему нового дали. Парень, видать, ничего, да только не в свои сани сел. Как нынче говорят — блатовый специалист. Отец у него высоко стоит и устроил сыночка на видное место.

Ленька, верно, мне не жаловался, а так в разговоре раза три понять дал, что не штурман у него, а горе горькое и что не знает, как от него отделаться.

И правда, как?

Жаловаться? Скажут: он молодой, глупый, вот и должен ты его учить. Передавать опыт. И воспитывать, значит, должен.

Что ответишь?

Раз командир — должен!

А как учить и воспитывать, когда тот ничего слушать не хочет?

С неделю времени прошло, гляжу я, невеселый Ленька ходит. Спросила, чего с ним. А он так прямо не ответил, но намек дал:

— Хуже нет с дураками дело иметь.

Ну, я догадалась — опять штурман этот кровь ему портит! И говорю:

— Неужели, Ленька, ты не можешь его напугать, да так, чтобы он сам от вас сбежал?

Посмотрел Ленька на меня пронзительными глазами, смеяться не стал и зубоскалить тоже не стал, видно, задумался.

А потом узнаю. Они ночью летали. Штурман путал-путал, еле свой аэродром нашел и очень был в волнениях и переживаниях. А Ленька перед посадкой механику подмигнул, тот чего-то отверткой подвернул, и тревожный сигнал включился — пожар.

Тут Ленька штурмана подзывает и говорит: давай, мол, прощаемся, потому как высота маленькая и с парашютом прыгать нельзя, а так я навряд ли вас целыми на землю доставлю, тем более и лететь уже не на чем, пока ты путался да крутился, вся, значит, порция бензина у нас кончилась...

Пожара, конечно, никакого не было. И сесть они обыкновенно сели. Только на другой день штурман в отпуск ушел, а потом и вовсе от них убрался.

Теперь, Ленька говорил, вроде за границу летает и, между прочим, очень даже довольный. Там спокойное дело, не то что испытания...

Вот почему мне Леньку жалко.

Он и без меня проживет, знаю, надеюсь. А все ж со мной ему легче. И он это понимает. Когда я тут неделю валялась, каждый день подле меня сидел и Клавдию ходить за мной наладил. И все предлагал: давай, мама, я тебя в самую лучшую клинику определяю.

Только что клиника?

Разве там могут новое сердце поставить? А старое изнашивается. И чего удивляться? Как вспомнишь, что пережито да сколько потеряно, даже странно делается, что оно хоть как-никак, а все еще работает.

На клинику я не согласилась, а в санаторий, сказала, поеду, только чтобы недалеко. Никакие мне там

Сочи, Кисловодски не нужны. Под Москвой согласна. Чтобы лесочек тихий, чтобы речка, чтобы воздух легкий и до дома близко.

В санаторий меня Ленькин друг Наум, тот, что антенну приходил налаживать телевизионную, отвозил. Ленька не мог. Улетел куда-то.

Чего уж этот инженер врачам наплел, не знаю, только встретили меня как принцессу. Самую лучшую палату дали, и в столовой около окошка посадили, и все спрашивают, чего мне хочется.

А мне чего надо? Сердце чтобы не болело или хоть поменьше пекло, и все.

Лечат здесь — стараются.

И лекарства, и процедуры всякие, и питание по науке, как доктор пропишет. Место тоже красивое. Лес чистый, дорожки аккуратные, цветов — прорва. А тишина! Тишина такая, что птиц слышно. Смешно подумать, я уж и позабыла, как птицы поют!

С утра я вроде как на работе — из кабинета в кабинет хожу.

Где слушают, где приборами измеряют, электричеством лечат и ванны делают.

Потом обед. Закуска, первое, второе, сок, компот. Половины не съедаю. Не приучена постольку есть. И вообще, думаю, столько никому не нужно, если только после операции, чтобы поправиться, вес нагулять.

После обеда отдыхать полагается. Только я днем спать не могу. Лежу, в окошко смотрю, как березки качаются, как облачка ползут, и думаю.

О чем?

Да про разное, что в голову придет.

Девчонкой я плавала хорошо. Как выучилась, и не помню. Это, конечно, не удивительно — кто у моря вырос, все плавают. А потом, когда замуж вышла и сперва в Киев, а потом в Москву переехала, вроде даже и позабыла, что люди купаются.

Не до купанья было. Все заботы да хлопоты.

И вот — Ленька подрос, повезла его к брату своему. Брат в Бологом жил. А там — озера. Пошли мы с Ленькой на пляж. Раздела его, он по бережку побегал, попрыгался, довольный.

Говорю:

— Ну, пошли, Ленюшка, поплаваем.

Пошел. Только как шагов пять сделал, назад. Бойтсся. Я поплыла, показываю — не страшно, дурачок, хорошо... Подумать, сколько лет прошло, а помню и озеро, и день тот, и как вдруг обрадовалась, что не разучилась! Плыву! Да-а-а... Ну а парня никак затащить не смогу. Бойтсся. И тогда я сказала Леньке:

— Наверное, зря я тебя, сынок, привезла сюда. Не надо было и пробовать. Не будешь ты плавать.

А он спрашивает:

— Почему?

— Трусишкой родился. Ничего не выйдет. Не будешь плавать.

Надулся, чуть не в рев.

— Буду,— говорит. И полез в воду. Я, конечно, рядом. Дошел, где ему до пупочка было, дрожит, слышно, как зубешки колотятся. И — бултых...

Подхватила его, чтобы не нахлебался, и давай показывать, как руками-ногами толкаться, как голову держать.

Осмелел, из воды не выгнать.

А через неделю заплывал. И вот что интересно: потом, когда уж он большим стал, бриться начал, если начну над ним подсмеиваться — насчет девчонок или про какие его художества говорить,— терпит, а как Бологое припомню, так пыхнет — и ходу. Не мог того слышать.

Вот так лежу, мечтаю, другой раз и задремлю.

Задремала тут вроде вполглаза, а сон возьми да и приснись. Будто отец наш живой откуда-то приехал и сидит за столом с Ленькой, водку пьет.

Надо же — такое только во сне присниться может:

отец сроду больше трех рюмок не выпивал, и Ленька не горазд. А тут вроде бы стаканами они ее глушат. Оба красные стали и друг на дружку сердятся.

— И много ты добра налетал? — Отец его спрашивает.

А он:

— Мне много не надо. От добра человек только сатанеет и другому глотку готов перегрызть, чтобы еще больше забогатеть.

— Намек, значит, делаешь? Так, что ли? Только не крути, а прямо отвечай.— И вижу, сердится отец, из себя выходит.

И вроде бы Ленька ему отвечает:

— Нет, почему же намек. Я вас осуждать не имею права. Вы всю жизнь старались и в своем деле очень даже хорошим работником были. А мечты вашей я и тогда не понимал, и теперь не понимаю.

— Это какой мечты? Говори, сукин сын, выкладывай, все до конца говори!

— Ну, чтобы капитал сколотить, чтобы проценты шли...

— Дураком ты родился и дураком помрешь,— отец говорит, а сам руками размахивает, будто Леньку ударить хочет,— а убьешься ежели при своем летании, что сыну твоему останется? Что?

И тут будто бы отец заплакал, а Ленька его по голове гладить стал и успокаивать:

— Не расстраивайтесь, папа, не надо...

Здесь я очнулась, а сердце так колотится, так колотится, гляди, выскочит.

Врать не буду — напугалась. Даже гулять не пошла и до самого ужина на терраске сидела.

Народ тут, как всюду, разный. Есть которые нравятся. А есть — глаза б мои не смотрели!

Один особенно гадостный. Здоровый боров, пудов на

семь, наверное. Шея толстая, салом налитая. Все на станцию бегает. А как вернется, так глаз у него и вовсе не видно — одни щелочки. Дыхнет, что из пивной бочки дух. И ко всем придирается — процедур ему, видите ли, мало дают, сестры грубо разговаривают, питание тоже не подходящее. И бухтит и бухтит. Но еще противнее, когда он про свои заслуги рассказывать начинает — и Беломорско-Балтийский канал будто бы он строил, и в Арктике работал, и на войне чуть ли не армией командовал. Всем уже надоел своими разговорами.

Сама-то я, правда, его не слушаю. Начнет, поворачиваюсь и ухожу. Но один раз все-таки сцепилась с ним. Из пустяка, верно, вышло, но я не смолчала.

Начал он сестричку Люсю мытарить.

Девчоночка совсем молоденькая — может, восемнадцать ей, а может, еще и восемнадцати нет, хорошенькая, обходительная, ко всем с улыбкой. Ну, прелесть девочка.

Так начал он ей выговаривать: и смотрит она на него не так, и вроде грубит, а вот если бы ей рубль дать, то по-другому бы небось разговаривать стала...

До слез девочку довел. Тут я не выдержала и говорю:

— Чего ты его слушаешь, Люсенька, не обращай внимания!

Как он взвился! И на меня: чего только не наплел. Ну, я послушала-послушала да тихонько так и сказала, вроде бы и не к нему обращаясь:

— Надоел ты мне, пошел вон отсюда.

Так что же вы думаете? Как открыл рот, так и позабыл закрыть. Что твой карась, из воды вытащенный.

И надо же, как раз в тот вечер Ленька меня проводить приехал. Мы аккуратно в столовой сидели. Заходит. Загорелый. Улыбается. В хорошем костюме, синем — а это редкость, чтобы он пиджак надел, все в кожаной куртке крутиться привык. А тут при галстукке и со звездочкой.

Вошел и вроде бы извиняется:

— От ребятишек из интерната еду, так что при параде... Не удивляйся, спешил.

Это у них шефство такое — над интернатом для неполноценных от рождения ребятишек. И Ленька, когда туда ездит, всегда старается в самом лучшем виде быть. Говорит: им это, ребятишкам, для моральной поддержки надо — выглядеть!

Все, кто в столовой был, внимание на Леньку обратили.

А он ко мне подходит и спрашивает:

— Ну, как, мама, отдыхаешь?

— Хорошо,— говорю,— сынок, отдыхаю.

— Лечат? — спрашивает.

— Еще как,— говорю,— лечат с утра до ночи, только и делают, что лечат.

— Никто не обижает?

Ну, я вроде подумала и говорю серьезно:

— Обижает тут один...— А сама смеюсь.

— Кто обижает?

Показываю на того толстого глазами, дескать, он. Ленька прямо как в театре разыгрывает: встает с места, вроде соображает, что же делать, потом поворачивается и тихонько так идет через всю столовую. Останавливается перед столиком толстого и, будто милиционер, спрашивает:

— Фамилия ваша?

— Бальзин,— говорит тот,— моя фамилия. А в чем дело? — И глазки у самого забегали, по сторонам озирается.

— Из какой организации?

— Главмосстройпроект, но в чем дело, товарищ?

— Там сидит моя мама, Бальзин. Присмотритесь и запомните. Если она еще раз пожалуется, мне придется вас перепроектировать, и тогда, возможно, ни жена ни сослуживцы вас больше не узнают.— Сказал и повернулся, пошел ко мне. Спрашивает тихонько:

— Не слишком?

— В самый раз,— говорю,— Леня. Таких обязательно пугать надо, а то очень уж они нахальные стали.

С полчаса Леня со мной побыл, ужинать не стал, хотя и предлагала ему сестра-хозяйка, нет, не стал — дела. У него всегда дела.

На другой день все спрашивают: ваш сын кто?

Как ответить?

— Мне — сын. А вообще — человек.

Смеются. Ясное дело — человек.

— Кем работает?

Объясняю — летчиком. Опять смеются — просто летчиком?

Тогда я сама спрашиваю:

— А какие еще бывают летчики?

— Может, генерал он или большой начальник какой?

— Нет,— говорю,— не начальник и не генерал, хотя на войне был.

— И Героя на войне получил? — спрашивают.

— Нет. После войны. Он самолеты испытывает новые. Вот дали...

И все мне после того еще больше улыбаться стали.

Приятно, врать не буду. И неудобно как-то. Вроде нахвалилась. Хотя я ничего лишнего не сказала.

Скоро уезжать. Жалко. Привыкла я тут. Нравится. И боюсь врачам сказать, что лучше несколько не стало. Печет сердце, как пекло. Неохота им говорить. Они старались. Это я понимаю. Видно, лучше лечить медицина пока еще не может. Чего же людям зря настроение портить? Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Верно говорю. Только от этого не легче — пожить-то еще охота.



Вот письмо намедни получила.

«Дорогая Евдокия Ивановна, здравствуйте!

Как вы себя чувствуете? Мы вас часто вспоминаем. И сына вашего, хотя видели его всего раз. Вы, наверное, очень счастливая мать — такого героя вырастили, и он к вам так нежно относится. Взрослый, а говорит: мама! Надо же.

Я тогда так растерялась и очень расстроилась, даже не поблагодарила вас, что заступились за меня. Спасибо вам, добрый и справедливый человек.

Желаю вам, Евдокия Ивановна, хорошего здоровья и счастья.

Приезжайте к нам еще. От всех девочек вам привет.

Если захочется, напишите, буду очень благодарна, а то скука — работаешь, работаешь, и даже в Москву съездить некогда. Только и развлечение — в кино иногда сходишь. И молодежи нет. У нас, сами видели, какие отдыхают.

Мария Федоровна, старшая сестра, на войне была, знаете, как она наших отдыхающих называет? Бэу, что по-военному значит — бывшие в употреблении. Конечно, это она не про таких, как вы, говорит, а как тот, толстый, фамилию его позабыла.

Ну, все, и так вон сколько написала. Целую вас. Людмила Попова».

Славная девчоночка эта Люся. Хотела ей сразу ответ написать, сунулась, в доме ну как шаром покажи, клочка бумаги не оказалось.

Вообще-то что мне писать? А все-таки чудно — нет как нет. Зато, пока в комодке рылась, старенькую папочку нашла. Уж и позабыла про нее совсем. Открываю, а там справки всякие, бумажки потрепанные. И чего только нет — удостоверение члена МОПРа отца нашего. Кто нынче помнит МОПР? Общество такое было. Междуна-

родное, для помощи революционерам. Справка о прививке оспы. «Сия дана Габову Лене...» Видать, перед пионерским лагерем оспу ему прививали. Корешки хлебной карточки. Пятьсот пятьдесят граммов на день. Рабочая карточка, остальным норма меньше была. Справка из домоуправления на площадь, что излишков у нас нету. Излишки! Семнадцать с половиной метров комната на троих, какие там излишки...

Гляжу на бумажки эти старые и не пойму — горевать или радоваться?

Наверное, все-таки радоваться. Потому радоваться, что, как нынче говорят, по всем показателям жизнь лучше стала. Хоть хлеб, хоть квартиру взять. А что молодость прошла, так тут горюй не горюй, ничего не сделаешь.

Не скажу, верно, что мы за отцом худо жили. Он всегда хорошо зарабатывал. Да и неудивительно — специальность такая, всем нужная. Каждый просит — погляди, наладь, почини. И с часами тогда затруднительно было. А он такое старье налаживал, не приведи бог. Ну, ясное дело, и от людей всегда благодарность. Выручали, деньгами платили и продуктами, случалось, помогали. Так что мы, пока отец жив был, настоящей бедой не знали.

Считать, конечно, приходилось. Чего считали? Да в разные года разное. И миллионы после революции сразу считали, когда коробок спичек три миллиона стоил. И сахар по кускам, и пшено стаканами.

Ленька куда как лучше живет, не сравнить. Однако замечаю, от тех времен и у него в крови кое-что застряло: никогда корки недоеденной Ленька не оставит, и нет у него понятия, чтобы еду различать — вкусная, невкусная. Есть можно — ест. И злится, когда у Клавы какой продукт пропадает — сметана скиснет или печенье до того усохнет, не угрызть. И не от жадности это. Жадным Ленька сроду не был. Всем и поделится, и так отдаст. От старых корешков привычки эти в нем. И пусть.

Мне на его теперешнюю жизнь отчего смотреть радостно? Не заработками его утешаюсь, не обстановкой или машиной. Нет. Вот как на духу говорю — нет! Тому рада, против старой, нашей с отцом жизни, Ленька как король существует. И все у него от честной работы. А сам он как был рабочего сословия, так и остался. Может, не по бумагам, а по жизни так!

Конечно, работа у Леньки трудная и опасная. Но и то во внимание принять надо: раз он свое дело выбрал и бросать не хочет, а вполне мог бы — летчики рано на пенсию выходят, — значит, довольный. И тут я скажу: это дороже денег, чтобы работа не в наказание была.

Сравнить нельзя, но возьму себя. В госпитале места не искала. Сошлось, податься было некуда — пошла. И без карточки в войну не прожить было, и совесть велела — помогай фронту. Квалификации у меня никакой не имелось, пришлось и грязь возить, и горшки таскать. Привыкла, не жаловалась. Видела — от моей муки людям пусть маленько, а все же легче делается. А теперь я в регистратуре, в поликлинике сижу. Какая работа — запиши, ответь, обратно запиши, по телефону поразговаривай. Одно и то же, одно и то же каждый день. Но мне не скучно. И я не жалею, что доктором или хотя бы медицинской сестрой не стала. Человек в поликлинику от хорошей жизни не идет. Обласкай его, улыбнись, подхвали врача, к которому посылаешь, он и повеселеет. А если как Раиса наша — терпеть ее ненавижу, смонщицу мою Раису Семеновну, на всех рычит и, в глаза не глядя, талончики больным сует, — так от нее и здоровый заболевает.

Я это и на собрании ей прямо в лицо говорила:

— Нет у тебя, Раиса Семеновна, души к людям, нет у тебя подхода. И если б моя воля, ты бы в момент на дровяном складе оказалась: рычи на сосновые чурки. Им это без вреда. — Вот так прямо и сказала. Обиделась она, конечно. Жаловалась и в местком и главному. А что мне сделают! Ничего не могут! Правда-то моя, и

пенсионная книжка Евдокии Ивановне Габовой давно выписана...

Правда, доктор Шария сказала:

— Максималистка ты, Габова! Прямо как десятиклассница...

Эти слова я так поняла, вроде мне больно много надо. Вроде я хочу, чтобы все люди без греха были. Ну и что же, ничего худого я в том не вижу.

И такого я не понимаю: дескать, у Раисы Семеновны характер трудный, и это надо учитывать, мол. Да пусть у тебя сто раз характер, а больному-то какое дело?

Характер! Чего-чего, а характеров я в жизни насмотрелась.

Хоть и отца нашего вспомнить, не приведи бог, какой характер был — въедливый. Все ему объясни, все доложи, да почему так, а не эдак, ответ дай. И памятливым был покойник. Ужас! Через десять лет припомнить мог!

— А вот тогда ты меня обманул. Так чего же ты хочешь, чтобы я тебе сегодня поверил?

И у Леньки тоже характер, хоть и не отцовский, но все же...

В войну приезжал механик его, пожилой, из мобилизованных. Видный такой, неторопливый. Ну, сначала он Леньку все нахваливал, герой, сокол, мастер и всякое такое. А потом маленько выпил да все слова, что в стенных газетах обожают, растерял и говорит:

— Мне на командира, то есть на сына вашего, ничего не скажу, повезло. Справедливый мужик, а справедливость я сильно уважаю. Только все равно трудно с ним. Скажет чего, прав не прав, а ты расшибись, но сделай по его. Кричать привычки у него нет, ругаться — тоже нет. Но жмет и жмет, чтобы на своем поставить. Конечно, я понимаю — командир! Должен авторитет свой высоко держать. А ведь и на старуху бывает про-

руха. И уж если ошибся, чего-то не так повелел, признайся. А он — нет, сказал — отрубил...

Может, с годами Ленька и похитрее стал. Жизнь всех учит. Только правильно его тот механик понял. Упрямый Ленька и настырный. Все по его должно быть. Мне и Клавдия жаловалась, хотя я с ней в откровенные разговоры и не лезу.

Пришла я тут с работы, а мне извещение с почты — посылка из Ашхабада.

Чудеса! Сроду я в Ашхабаде не была, и никаких знакомых у меня там нету. Подумала, может, какая ошибка вышла? Но на почту все-таки пошла. И ноги болели, и неохота было, а пошла.

Проверили, говорят: все верно, вам. И дают ящик. Не больно тяжелый, но все-таки с весом.

Притащила домой, насили крышку открыла, а там шерсть — мотков, поди, двадцать, и синяя, и бордо, и такая веселенькая — салатовая. Ничего не пойму — почему шерсть, от кого? Еле записочку нашла, в мотках запуталась.

«Уважаемая Евдокия Ивановна, исполняя поручение вашего сына, посылаю два килограмма шерсти. Надеюсь, цвет вам понравится, а за качество ручаюсь. Самая лучшая шерсть — эта. Желаю вам всего доброго, с уважением. Самохин».

Иду в автомат, звоню Леньке.

— На что ты человеку голову морочил, — спрашиваю, — что, твоему Самохину делать больше нечего, как мне шерсть посылками отправлять?

А он:

— Так я ж тебя уговаривал кофту купить, а ты — не надо да не надо. Вот теперь и вяжи сама, а не хочешь сама — Клава может одной знакомой отдать, она быстро свяжет и недорого возьмет.

Вот такой у него характер. Лопни, а сделай по его...

Рассердилась я на Леньку давеча — за ту шерсть ашхабадскую. А выходит, зря. Очень она мне теперь пригодилась. В больницу меня угораздило. Попала все-таки. Так не хотелось, так не хотелось, а пришлось. Делать тут, понятно, нечего — лежу, спицами звякаю. Оно и спокойнее, с вязаньем-то. Считай петли и ни о чем не думай.

Попервости у меня особых сомнений не было: отлежусь, отойду, думала. А теперь и не знаю. Врачи ничего такого не говорят. Спокойно велют лежать, лекарства дают, уколы делают. Только Ленькино лицо мне не понравилось, когда он навещать приходил. Слова легкие говорил, с усмешечкой да с шуточкой про дела свои рассказывал, но меня не обманешь — тревожное у него лицо. И глаза нехорошие... Не люблю, когда он так смотрит...

Но я старалась вида не подавать. Поговорила с ним маленько и велела:

— Ты иди, Леня, пользы от твоего сидения все равно нету, а в больнице торчать, хоть при родной матери, радости мало. Понимаю. Нагляделась я на госпиталя эти, и на больных и на раненых тоже.

Он вроде обиделся.

— Чего это ты, мама, меня гонишь? — А я вижу, рад уйти, рад. И понять могу: здоровому и без привычки куда как нехорошо больничным запахом дышать, улыбки строить и про пустяки говорить.

Ушел он, а я вот вяжу. Кофту Клаве начала. Рукав реглан, спереди на пуговицах. Всю насквозь резинкой вяжу. И быстрее так, и тянуться не будет. Если управлюсь закончить, пусть Клава на здоровье носит. Любви у меня к ней нет, что верно, то верно, силком себя не заставишь человека любить, но и зла я на Клаву никогда не держала. Как-никак, а моих внуков она мать. И ей тоже нелегко достается: каждый день ждет, беспокоится.

Говорят, ко всему привыкнуть можно. Но я сомневаюсь и так думаю: людям можно, конечно, вида не показывать, а чтобы и на самом деле не волноваться, на

часы не заглядывать, когда он летает, навряд ли это получится. Я, когда того американца Коллинза читала — «Летчик-испытатель» его книжка называется, — так про себя подумала: какими словами ни объясняй, сколько ни улыбайся и шутки ни строй, а профессия у них, работа то есть, — не приведи бог! Каждый день по ножу...

Ох, не хочу и думать об этом сегодня. А то опять расстроюсь, и доктор будет мной недовольный.

Палата у меня хорошая — небольшая, на четверых. И соседки попались хорошие. Не тяжелые. Одна скоро выписывается, так что ее и не видать почти. Все в саду гуляет. Другая — девчонка, с пороком сердца. Вот уж кому не повезло. С рождения мучается. Ей и операцию делали. Теперь для проверки положили. Хорошая девочка, услужливая, все помочь старается и мне, и другой старушке.

Вчера говорит:

— А хотите, Евдокия Ивановна, я вам почитаю?

Чего мне читать — я и сама умею, и глаза у меня, слава богу, не больные! Но вижу, охота ей. Может, по книжкам знает, что раньше больным вслух читали, была такая мода... Ладно, думаю, пусть почитает. И стала она из журнала читать. Складно, с выражением, как артистка все равно. Я и сказала ей потом:

— Ты прямо, Риммочка, как артистка читаешь!

А она покраснела чуть не до слез. И мне тогда в голову стукнуло — видать, впрямь в артистки мечтает. И верно. Угадала я. Призналась, что с детства у нее такая думка была — в театре представлять. Да не пришлось: по здоровью не взяли. Переживает, конечно, сильно. Но надежды не оставила. Говорит, будет стараться в дикторы на радио или в телевидение устроиться. Пусть там не так хорошо, как в театре, но зато легче — сиди и читай. Никакого особенного здоровья не требуется.

Правда, я сомневаюсь, чтобы там здоровья не требовалось, попробуй-ка посиди под лампами час подряд, а

может, и более, небось взмокнешь, но не стала я девочку расстраивать.

— Правильно,— говорю,— соображаешь, правильно. Может, сразу и не получится, но ты не расстраивайся, если упрямство проявишь, все по-твоему получится.

Жалко мне Риммочку эту. Молоденькая, хорошенькая, а по правде сказать — инвалид. Хорошо хоть при родителях живет. Отец приходил. Не старый еще мужчина. Сразу видать, самостоятельный. Яблоки принес, апельсины и строго с ней так говорил:

— Есть толком не будешь, еще месяц здесь пропаешься. Не понимаешь, что ли? Или понравилось в больнице лежать?

А уж она во все глаза на отца смотрит. Видать, души в нем не чает.

Мне понравилось, что отец со строгостью. Страсть я этого не люблю, когда перед больными слезы льют, охают да ахают. От такой жалости один вред!

Ночью мне совсем худо было. Пришлось дежурную сестру звать. Она врача всполошила. Неудобно даже. Соседкам спать не дала. Но ничего, как уколы сделали, полегчало. Заснула даже. А теперь слабость. Не то что вязать, руки поднять не могу. И в ушах звон, звон...

Чего делать, не знаю даже. Смотрю в окошко. Только с постели мало чего видно — неба кусочек да ветки тополевые. А давеча самолет пролетал. Большой, белый. Высоко летел, шума не слышно. И сразу я про Леньку подумала.

Вот лежу здесь, а он там летает. И беспокоится небось, думает, что у матери. А это хуже нет, как я понимаю, когда голова летчика посторонним забита. Он, верно, не так уж часто про свою работу мне говорит, только за все годы, что Ленька в летчиках, я кое-что и сама понимать стала. Ведь сколько ему помнить всего надо —



и про самолет, значит, и про моторы, и про приборы разные...

Он сказал, что в больших-то машинах приборов этих и три и даже пять сотен бывает! И за всеми глядеть надо, и ничего попутать нельзя.

Трудно ему сейчас. Лучше б отпуск взял. И пусть бы куда отдохнуть, пока я тут лежу, поехал. Только не согласится. А зря. Поехал бы, так я, честно говоря, никогда б не обиделась. И ему и мне спокойнее...

Клавдия зайти собиралась. А что-то не идет. Я велела прийти, руки ее смерить надо, чтоб рукава коротки не оказались.

Придет, потолкую. Может, уговорит она Леньку. Наверяд ли у нее выйдет, но попытаюсь, а вдруг послушает...

Или я задремала?

Вроде Леня заходил и с врачом шептался. И как будто Риммин голос слышала:

— Вчера ей плохо было, а сейчас — ничего, вы не волнуйтесь.

Или приснилось, или на самом деле приходил? И спросить не у кого. Все куда-то ушли.

Верно, я и впрямь спала.

Баллона-то этого не было, а теперь стоит. Синий. И не заметила, когда прикатили.

Кислород.

И Риммочкина постель застлана.

И те две койки убраны.

Что же это выходит? Перевели соседок моих в другую палату?

Худые мои дела, видать.

А может, и не совсем худые? Леня не ушел бы, когда б совсем плохо было.

Остался бы Леня... Как же...

Ничего не болит. И дышать не тяжело.

Вчера хуже было.

Зря я, наверное, Клавдии вязать кофту стала, надо бы Лене свитер. На груди с узором, по моде...

Он, правда, модами не интересуется. Все в куртке своей кожаной ходит. А как Клава скажет, чтобы костюм или чего еще себе купил, смеется, и ответ один: — Или я голый?

Чудной. Клаве все норовит сделать — и шубу и платья — и для меня старается. А самому, послушать, так ничего не нужно.

Все собаку мечтал завести. Овчарку.

Пусть в доме зверь живет, говорил, чтобы меня на работу провожал и с работы встречал, чтобы тапочки к порогу приносил.

Давно мечтал, да так и не собрался.

Или пес подходящий не попадался? Хотя, говорят, я узнавала, в собачьем клубе овчарку совсем даже нетрудно купить. Была б охота и, конечно, деньги.

Придет Леня, спрошу...

Совсем я слабая стала. Все сплю и сплю.

Даже не пойму, какое число нынче? Ну да ладно, бог с ним, с числом, дышать бы полегче было.

Сейчас ничего. Только не нравится мне — давеча палатный врач приходил и с собой троих еще привел.

Одного я знаю — заведующий отделением.

А других первый раз видела.

Все слушали меня и бумажными лентами шуршали. Чего они промеж собой говорили, не поняла... Слова не русские... Потом старший мне говорил:

— Спать старайтесь, спать больше и не волнуйтесь. Доктор у вас головастый, — и показал пальцем на палатного, — очень хитрый. Любую болезнь обманет. И только помогайте ему. А я еще зайду. На следующей неделе.

Зайдет. Ну что ж. Славный старичок, пусть заходит. И неделю, значит, мне обещал... Семь дней то есть...

Или успокаивает, или вправду?

Должно быть, вправду...

Глаза у него веселые, чистые и смотрели прямо.

Какой уж день мне сады снятся? Яблони в белом цвете, а цвет страшной силы — листьев совсем даже не видно. Белым-бело кругом, и вроде в облаках они стоят — легких, духовитых. И сирени видятся, тоже сильные, пахучие...

К чему бы это и откуда?

Вроде и не жила я никогда от земли близко — все в городе. Разве что девчонкой в Одессе настоящие сады видела да в Ташкенте, в эвакуацию.

Девчонкой не понимала той красоты, а в эвакуации не до красоты было. Больше о куске хлеба думала да писем с фронта ждала.

А вчера глаза открыла — гляжу, яблоки на тумбочке. И с листиками, будто их с дерева только-только сорвали. И пахнут садом. Кто принес, не знаю. Не слыхала.

Только подумала: хорошо бы Ленька пришел, он из всех фруктов только и понимает яблоки. Страсть как любит. Маленьким когда был, ничего ему не надо — ни мороженого, ни конфет, а яблоко дай! Особенно ранет. Кило мог враз смолотить.

Подумала, а он и явился.

— Ну, мама, как дела? — спрашивает.

— Какие дела, — говорю, — поди, не контора — больница... Поешь, — говорю, — яблочка. Кто принес, не знаю, а пахнут уж больно приятно.

Не берет. Понес какую-то ерунду, что он не мародер, чтобы у больной женщины из рта витамин вырывать... Вроде я только от тех яблок и могу поправиться. Послушала я его и говорю:

— Не мели, Леня, чего не надо. Мародеры от мертвых пользуются, а я покуда живая. И не волнуй мать. Доставь мне удовольствие.

Замолчал. Взял яблоко и захрустел.

Он жует, а я смотрю и замечаю: Ленька-то мой ста-

рым стал. Никогда раньше мне такое в голову не приходило. А тут вдруг вижу: вокруг глаз — морщины, и на щеках кожа висит.

— Плохо ты выглядишь, Леня. Или нездоровится?

— Нет,— говорит,— здоровится, просто не выспался. Ночью летал, а днем отдохнуть не дали.

И стал рассказывать, какие у него дела днем были и как он с кем-то на работе скандалил, а потом в министерство свое ездил правду доказывать. Одно яблоко дожевал до самого до хвостика — он всегда, если яблоки ему по вкусу, дотла их уничтожает — и за второе взялся.

Потом вдруг говорит:

— А хочешь, я с Алешкой к тебе приеду? Не интересно тебе на мужика посмотреть? Здоровенный стал...

И с чего меня тут проняло вдруг, даже не пойму — он говорит, я — реву. Бегут слезы, хоть что делай, не останавливаются. И стыдно мне. И не хочется, чтобы он заметил. А слезы текут да текут.

Он, конечно, углядел. Но спрашивать ни про что не стал и слов никаких говорить тоже не стал. Взял мою руку и гладит и гладит, а сам отвернулся.

Рассерчала я на себя — жуткое дело как рассерчала. И сразу слезам конец.

— Это я тебя, Леня,— говорю,— а не себя жалею, ты не думай.

— Меня? А чего меня жалеть,— спрашивает,— или я маленький?

— Ты большой, и жалею не поэтому. Устаешь, на работе из тебя нервы тянут, а тут еще около меня расстраиваешься. Вот и жалею.

Посидел он еще маленько, а потом я его прогнала.

— Ступай,— сказала,— отдохни.— А когда он прощаться со мной стал, спрашиваю: — У тебя, кроме этих, что на руке, часы еще есть?

— Есть,— говорит,— и наручные и карманные.— И смотрит на меня с вопросом, вроде на что тебе часы?

— Тогда,— говорю,— оставь мне, Лень, свои часы, если не жалко. А то я совсем со времени сбилась. Другой раз не пойму — или утро, или вечер...

Снял он с руки часы и подал мне. Я взяла и под подушку положила. Потом, когда он ушел, достала и слушаю — стучат...

И вроде полегче стало.

Всю жизнь я часы слушала. У нашего отца их, бывало, по полсотни собиралось, и все на разные голоса стучали. Проснешься среди ночи и не поймешь, кто это на весь дом стрекочет.

К вечеру палатный доктор пришел. Послушал сердце. Сестре велел, чтобы укол до ночи сделала, и спрашивает, чего, значит, мне хочется, или какие, может, к нему вопросы есть. Ну я сказала:

— Очень вас прошу, не велите Леньке, то есть сыну моему, каждый день сюда приезжать. Он по ночам летает и устает, ему нервы беречь надо. А приезжает, сидит подле меня и только расстраивается. Все равно помочь он мне не может.

Прямо доктор ничего не пообещал, а все-таки согласился:

— Постараюсь.

Он ушел, а я лежу и часы слушаю.

Идут.

Хороший ход у Ленькиных часов — звонкий и чистый. Я понимаю.

Отец научил понимать.

Засыпать стала, подумала: «Хотя бы море приснилось. Давно я на море не была». И как по заказу, можно считать, вышло.

Сплю и вижу — иду по берегу. Песок мягкий, белый, и ни одной души кругом. Ну, совсем пусто. Удив-

ляюсь: куда люди подевались? И почему море в барашках маленьких, а ветра совсем никакого нет?

И вроде дошла я так до бухточки. Стою думаю: искупаться или сначала на солнышке полежать? Прилегла, греюсь. А рядом откуда ни возьмись — ребеночек. Маленький. Веселый. Смотрю — не Ленька. Еще смотрю и вроде бы соображаю — да это же первый мой сынок, Сашенька, который и годика не прожил. А тут выходит, будто он не умер. И на вид ему куда как больше, чем четыре месяца. И почему-то к ручке его родильный номерок привязан.

И думаю я во сне: окунуть мне Сашеньку или не окунать? Может, холодная для него вода еще будет?

Встаю, подхожу к морю, хочу пощупать, какая вода, а меня как в руку-то кольнет, и горячо-горячо стало...

Открываю глаза. Сестра, вижу, шприц держит и говорит:

— Извините, Евдокия Ивановна, разбудила. Время укол делать, думала, может, не проснетесь, а вы проснулись.

— Ничего,— говорю,— спасибо.

Она ушла. И сон с меня слетел.

Сначала так лежала, с открытыми глазами. Только уже неприятно больно на ночной синий свет смотреть. И кто это придумал ночники те дурацкие? На собственную руку глянешь, будто утопленника рука.

Закрыла я глаза, а сон все одно — стороной обходит.

И на сердце тяжесть. Утюгом, верно, не печет, а дышать трудно.

Стала про море думать. Не помогает. Нет сна.

Тогда давай Крещатик вспоминать, каким он раньше был, когда мы в Киев из Одессы переехали.

А чего вспомнила?

Одну только кондитерскую. Уж больно там баранки замечательные выпекали. С маком. Румяные. И как уму-

дрялись, не знаю, только баранки те всегда у них горячими были, будто прямо с пода поднятые. И чего они дались мне — баранки? И не голодная, и покупала я их больше для отца — очень он тесто всякое любил, а я равнодушная к баранкам была. Пирожки с вишней, верно, любила. Мать-покойница очень ловко их пекла. Ровненькие, один к одному. И корочка хрустящая, блестящая...

Чудно! Вся память о матери осталась — пирожки с вишнею, а лица ее совсем уже не представляю, только на фотографии...

Извелась, а сна нет. И ворочаться тяжело. И лежать устала — спина немеет.

Что делать?

Сестру звать, таблетку просить усыпительную? Не люблю я таблеток. И девчонку жалко — избегалась с нами, лежачими. Может, только прикорнула. Ночь ведь. И тут подумала: а сколько же времени сейчас будет?

Достала часы Ленкины из-под подушки. Блестят они в синем освещении, вроде и не часы, а раковина придонная.

Так вертела, этак — не видать стрелок. К уху приложила — стучат. Делать нечего — лежу, слушаю.

И успокоилась.

Они идут, я слышу. Значит, живая еще.

И-дут, и-дут, и-дут... Ленины... часы...

Тик-так, и-дут, тик-так, и-дут... Тихо, а слышно.

А потом вроде бы провалилась. И до самого света спала.

Утром Риммочка зашла. С цветами. Выписывают ее. Попрощаться заглянула. Славная девочка. Жалко ее. А те цветы не могу я видеть. Астры. Терпеть не могу. Покойницкие цветы. Риммочка ушла, я их с тумбочки на пол переставила, чтобы в глаза не лезли.

Лежу и опять часы слушаю.  
Идут покудова, звонко стучат.  
Вязать пробовала. Только два рядка и прошла.  
Руки устали.

Почитала маленько. Из «Огонька». Бросила. Неинтересно. Слова, слова, а смысла ну никакого нету...

Соседка бывшая заходила. Принесла компот. Говорит:

— Домашний, покушай, Евдокия Ивановна.

Пришлось. Неудобно обижать человека. А компот кислый — вырви глаз. Ложку проглотила, меня аж скоротило.

А соседка говорит:

— Дочка нарочно с аскорбинкой варит — витамин, полезно.

Чего уж в аскорбинке этой полезного, убей, не знаю, хуже лимона...

Ох, и надоело колодой лежать. Надоело. И встать не могу. Что руки, что спина как ватные...

Ну, если меня тут на ноги поставят, попрошу Ленку, чтоб путевку достал в тот санаторий.

Вот где хорошо было.

Воздух, тишина, лучше и не надо...

Почему-то сестричка санаторская Люся вспомнилась. Ласковая девочка, мне бы дочку такую.

И чего только в голову не лезет, когда так вот — все одна да одна? Хотя, если всерьез раскинуть, чего мне не хватает, на что жаловаться... Но, видать, это сильнее нас: есть чего — мало. Сын хороший, так еще и дочку подавай.

Размечталась и не пойму — во сне я или только задремала чуть?



Открываю глаза и себе не верю: на табуретке при кровати Раиса Семеновна сидит.

В халате, в шапочке белой.

В своем, видать, прошла, будто бы местная.

На тумбочке кефир стоит, какой-то кулечек...

Увидала, что я на нее гляжу, и говорит:

— Проведать пришла, Евдокия Ивановна. Ты не удивляйся, сердца на тебя не держу. А если что не так между нами было, прости...

Ну, что на такие слова сказать можно?

Спасибо, значит, и прощать мне тебя не за что, не виноватая ты передо мной...

А сама думаю: «С чего бы это тебя принесло? Не должно быть, чтобы ты просто так прикатилась. Не похоже».

Она сидит, ручки на животе сложила, губы подобрала, и такая грусть на лице написана, чисто с лучшей подругой прощается.

— Давеча доктор Шария, не люблю ее, носатую, хоть и терапевт она, конечно, понимающий, слышу, говорит, что дела у тебя, Евдокия Ивановна, плохи и удивительно, как сердце столько времени выдерживает... Как услышала, сразу собралась... Кто знает, что нас ждет? Люди мы немолодые, поношенные, вот и подумала: а ну-ка и правда перекинешься, на всякий случай попрощаться надо. А здесь сестра этажная успокоила: «Евдокия Ивановна ваша еще потянет,— и очень она доктора твоего хвалила, а как про сына разговор завела, так, веришь, вот такие, что твой виноград, слезы у нее».

Долго еще Раиса Семеновна стрекотала. И про то и про это.

Нет, не расстроилась я. Нисколько не расстроилась. Только лежу и думаю:

«Чего в тебе больше — глупости или злобы?»

Положим, мне и вправду не жить, так для чего ты мне это объясняешь?..

Прощаться, видите ли, явилась! Надо же!

Лучше бы ты здоровалась со мной как человек, пока я на работу ходила... А то, бывало, шипит и выламывает, будто я перед ней в чем виноватая.

Часа полтора она просидела. Когда уходить собралась, я ей сказала:

— Спасибо, Раиса Семеновна, что навестила. Пожалуйста, открой теперь окошко. И пошире.

— Не боишься, продует? Я страсть как сквозняков опасуюсь.

— Нет, не боюсь,— сказала я,— от свежего воздуха еще никто не помер. Открывай, не сомневайся. А на работе привет всем передавай, скажи, держусь покуда, стараюсь.

С тем и расстались. Она из палаты выкатилась, а я подумала: «Не расстраивайся! Не стоит Раиса Семеновна твоих огорчений. Переделать ее уже не переделаешь, да и не моя это забота. Пусть себе живет, какая есть». И вспомнила, как отец наш говаривал: «С клопом оно вроде веселее — нет-нет да и почешешься».

А из окошка ветерок свежий, ласковый — одно удовольствие.

Первым делом, как она ушла, я Ленкины часы достала. Послушала — идут.

Ну и хорошо.

Лежала я, лежала, а потом, не знаю даже, с чего, подумала вдруг: встать бы, до окна дотянуться и на ту жизнь, что в городе, поглядеть...

Все мне понятно — лежачий режим, полный покой, разгрузка и всякая такая музыка...

А вдруг, как пересилю себя, и оно легче станет, и на поправку пойдет?

Доктора, что говорить, умные, ученые, они все зна-

ют... Только и не все... В болезнях, ясное дело, доктора разбираются, а в человеке — это как получится, раз на раз не приходится...

Вот хоть с Ленкой как было — перед самым парадом у него, помню, температура вскочила.

Ему летать, новый самолет показывать, и на тебе — тридцать девять!

Клава засуеилась — доктора надо!

А он?

Никаких, говорит, докторов, никому ни слова!

И поплелся в баню. Верно, я тогда перечить ему не стала, но все-таки опасалась, как бы он из той бани да в больницу не угодил. Все же тридцать девять — это не фунт дыму!

А что вышло?

Пришел он обратно часа через два. Лицо красное-красное, но глаза не блестят. Почти, можно сказать, нормальные глаза стали. Выдул кряду стаканов шесть чаю. Надел на себя свитер старенький, такой бежевый, с войны у него еще был, весь штопанный-перештопанный, попросил у Клавы одеяло ватное — это в августе-то, по самой жарнице! — завернулся и часов, пожалуй, шесть проспал.

Поднялся — здоров...

А почему? Пересилил!

Конечно, Ленка покрепче меня. И сердце у него лошадиное. Он вон как на пятый этаж бегаёт! Лифт ему ждать неохота...

Еще часы послушала. Идут.

Или правда встать?

Страшно.

И не то страшно, что получится может. Этого не боюсь. Страшно — а ну-ка не осилю себя.

В Ташкенте было.

Зима. Нездоровилось мне. Хоть там холодов особых и не бывает, однако при слабом питании военного времени мы ох как мерзли.

Зашла к соседям через дом, у них печечка хорошая была — пять щепок положишь, аж гудит, да так жаром и пышет.

Добрые люди были. Пустили к огоньку. Кипяточку дали. Урюка горстку. Даже неудобно.

Побыла у них с час времени, разомлела вся. Однако домой все равно идти надо. А они и говорят:

— Возьми, Дуся, щепочек. Перед сном у себя потопишь.

Я отказывалась. Щепочки в ту пору дорогие были. Но все равно навязали мне охачку и прямо-таки в руки всунули.

И вот до дома своего я доплелась, в парадное вошла, а по лестнице подняться сил нет.

Как падала, не помню. Сколько пролежала, тоже не знаю. Очнулась, а дровишек-то моих нет. Украл кто-то. И такая меня обида взяла, такой страх накати, не сказать...

Встану?

Ну, вот так — на руки надо сначала опереться... Так... Ничего...

Сердце бьется, и дышать можно...

Посиди, не торопись, Так...

Теперь давай ноги опускать... Одну... Другую...

Видишь — села.

Посиди, посиди, отдышись...

Часы послушай.

Идут. Вон как славно стучат, звонко...

А время-то сколько? Четверть шестого.

Теперь вставай да крепче за спинку кровати держись. Держись, держись...

Вот и встала. Стоишь.

Так. Теперь за стул взяться. Держишься? Ну-ну, шагни. Хорошо.

Шагнула — и ничего.

Еще давай... Еще...

Ветерок-то какой хороший. Ласковый.

Еще давай. Так.

Постой, не торопись.

Голова кружится — ничего. Давно не ходила, отвыкла.

Постой чуток. Пройдет голова.

Так. Шагай. Еще... еще...

Ну, вот и окошко...

А дворик славный. Зеленый весь.

Ребятишки играют.

И ветерок.

Не жарко.

А чего это Ленька тут делает?

Увидит.

Отойду... Назад... лучше...

Леня... Ленюшка... Леня...

ПРОЦЕНТЫ  
НА  
КАПИТАЛ



Случилось это как-то сразу: на пятьдесят первом году жизни я начал вдруг замечать, что память моя, безотказно работавшая до той поры, дает странные, совершенно незапрограммированные всплески. Ни с того ни с сего, словно кадры давно позабытого фильма, всплывают лица людей, окружавших меня в самом раннем детстве; высвечиваются эпизоды давно прошедшей юности; или я вижу вдруг детали, казалось, навсегда исчезнувшей обстановки; припоминаю случайные встречи или даже обрывки мимолетных разговоров.

Не могу назвать эти ощущения болезненными или неприятными, скорее они были необычными. И необычность тревожила. В какой-то момент я даже подумал: а не посоветоваться ли с врачом? Но тут же отказался от своего намерения: жаловаться-то было не на что, я ведь ничего не забывал и не путал, только вспоминал.

Поделился с женой. Жена моя — женщина рассудительная, все говорят — умная, весьма практичная и решительная, терпеливо выслушала мои не очень вразумительные признания, поглядела полусочувственным, полупренебрежительным взором всегда новозмутимых серых глаз и сказала с полной определенностью:

— Куришь много, недосыпаешь, перерабатываешь. Чего ж удивляться? Нервы... — и сразу перешла к делам, так сказать, текущим: ее беспокоили институтские подруги дочери. Какой-то странный образ жизни они ведут — порхают, мечутся... все осмеивают... ничего у них нет святого...

Клава говорила ровным голосом, и слова ее ложились плотно, весомо, словно кирпичи в добротную кладку. Признаюсь, я не слишком усердно слу-

шал мою рассудительную супругу, но, как всегда, согласился с ней и пообещал при первом удобном случае обратить внимание на «этот вопрос»...

А сам подумал: «Как странно, если приходится объяснять что-то не совсем обычное, мы непременно ссылаемся на нервы или аллергию... Просто шаманство какое-то... А что такое нервы? Проводники слабых электрических импульсов». И стоило мысленно произнести «импульсы», как я тут же вспомнил о сыне.

Алешка — электронщик, специалист по вычислительной технике. Решил поговорить с ним. Вообще-то мы не так часто и толкуем. Он из молчунов, может часами ковыряться в своих схемах, а я не настолько разбираюсь в электронике, чтобы быть для него интересным собеседником. Нет, у нас вовсе не плохие отношения, я бы сказал, отношения у нас сдержанные. Кто виноват? Да никто. Так уж сложилась жизнь...

Алешка выслушал меня с полным вниманием и сказал:

— Насколько я понял, тебя одолевает незапрограммированная информация... любопытно. Слушай, а обратная связь есть?

— Какая обратная связь? — не понял я. — Что ты имеешь в виду?

— Ну, вот ты видишь что-то из прошлого... вспоминаешь помимо воли... Верно? А потом ты убеждаешься, что увиденное имело место в действительности или...

— Да что же, по-твоему, я с ума схожу? Конечно, убеждаюсь.

— При чем тут «с ума схожу»? Надо же установить: истинные сигналы выдает твоя коробка памяти, — тут сын постучал пальцем по своей волосатой, плохо чесанной и, как некоторые полагают, гениальной голове, — или ложные...

И мне стало грустно. И чтобы как-нибудь завершить разговор, я сказал:

— Ладно, это мы еще проверим.



Я вышел на балкон и посмотрел в синеватую даль, туда, где виднелись остатки изглоданного бульдозерами леса, где над землей торчали тонкие силуэты подъемных кранов, осваивавших новый микрорайон.

И почему-то мне представился уголок нашей старой довоенной квартиры. Ни лес, ни краны не имели, понятно, никакого отношения к тому жилью, а вот поди ж ты... Я увидел желтовато-серые обои слабо освещенного коридора: на обоях узоры, похожие на диковинные водоросли, вступившие в противоестественную связь с медузами, вспомнились темно-коричневые двери с фигурными растресканными наличниками и объявления, которые постоянно появлялись на этих капитальных дверях.

Объявления!..

Это были не просто бумажки с напоминаниями: «Не хлопайте дверь!» или «Гасите свет!». Объявления могли бы послужить исчерпывающими характеристиками обитателей нашей квартиры; объявления постоянно сражались.

Сосед справа, бывший эмпман, толстый, подслеповатый, ящерицей шмыгавший по коридору, прикалывал с помощью четырех кнопок свой призыв: «Прошу после девяти — тихо!»

Мой отец немедленно приписывал: «И до девяти — тоже!»

Соседка слева — сморщенная, вредная полуодичавшая от тоски по ушедшим временам старуха — приклеивала мукой бумажку рядом: «Сначала научитесь спускать воду!» А кто-то красным карандашом добавлял: «Хи-хи! И не промахиваться!»

Поздно вечером возвращался сосед, живший в самой дальней комнате, около кухни. Сосед носил ромб на малиновых петлицах защитной гимнастерки, что означало — комбриг, по теперешним званиям это соответствует генерал-майору. Комбриг срывал объявления бывшего

нэпмана с припиской моего отца, тщетно пытался отца-рапата бумаженцию вредной старухи и, отчаявшись довести дело до конца, писал от угла к углу, словно накладывал резолюцию: «Стыдно, товарищи!»

Но на другой день все начиналось сначала: «Выходя, гасите свет!», «Входя — тоже!», «Не бросайте твердый мусор в унитаз!», «Неужели это серьезно?», «Стыдно, товарищи!»

С усилием обрываю это непрошеное «кино». Вот чертовщина! Откуда только она лезет?

Думаю: «Может, поговорить с дочкой? Конечно, она не такая рассудительная, как ее мамаша, и не такая образованная, как ее брат, но мы с ней ладим и, кажется, совсем неплохо понимаем друг друга».

Дочка выслушивает не более половины того, что я собирался выложить, решительно перебивает и говорит:

— Все ясно! Купи лыжи. Обыкновенные лыжи за двенадцать рублей шестьдесят копеек. Ты раньше здорово ходил на лыжах. Я помню. Ну что ты на меня смотришь как на полную идиотку! Я знаю, что говорю, знаю! Разве это не правда, что ты здорово ходил на лыжах?

— Правда...

— Ну, вот! А теперь постарайся понять: тебе все надоело — работа, мы, мама...

— Что ты болтаешь, Тина?

— Я тебя умоляю! Только не разыгрывай благородного возмущения... Заботы, быт, женщины и дети обязательно должны время от времени надоедать каждому нормальному мужчине. Это азбука! Так вот — купи лыжи. Секешь? А я познакомлю тебя с Файкой. Девка — закачаешься! И имеет тяготение к ветеранам, так что будь спокоен..

— Хорошо, лыжи, я, пожалуй, куплю, — безо всякого

энтузиазма говорю я, чтобы прекратить этот дурацкий разговор. Наверное, надо было хоть для виду разозлиться, но я совершенно не умею сердиться на Тину. И она, к сожалению, знает.

3

Лыжи? Лы-жи...

Почему-то мне представляется площадь Маяковского без памятника Маяковскому. Собственно, тогда это была еще не его площадь, а Садово-Триумфальная; и на том месте, где потом поднялось многопудье бронзы и камня, стояла зеленая трамвайная будка и вокруг будки со скрежетом разворачивались красно-желтые вагончики шведской постройки... Дай бог памяти, какие же здесь проходили маршруты? Шестой, тринадцатый и, кажется, двадцать пятый.

На тринадцатом мы ездили в Петровский парк и там за площадью Белорусского вокзала катались на лыжах.

Лы-жи?

Отец был против лыж.

— Человек должен жить от головы, а не от ног! Твой дед, — отец недовольно кивал в мою сторону, — между прочим, никаким спортом не занимался, и ничего — подковы гнул. А теперь все как с ума посходили — физкультура, физкультура, физкультура! Если хочешь знать, так кто здоровый, тот — здоровый. И по нынешним временам надо за образование думать, а не за лыжи...

Отец был часовщиком, резонером и неудачником. Смолоду мечтал о коммерции, но сначала у него не было оборотного капитала, а потом изменились времена. Выучился чинить часы. Не знаю, легко ему это далось или нелегко, жалоб не слышал, впрочем, и восторгов с его стороны не замечал. Запомнил другое — он чинил часы на работе и дома, чинил во все дни недели, кроме воскресенья. А в воскресенье отец требовал к обеду ку-

лицу; выпивал три рюмки водки (всегда — три, ровно — три) и вечером играл с приятелями в девятку или лото...

Мать была не против спорта. Но лыжи маме почему-то не нравились. Настоящим спортом она считала теннис, коньки и, как предел мечтаний, голубую яхту под белым парусом. Яхта казалась маме особенно романтической и очень благородной.

Мама долго не покупала мне лыж.

— Ты же слышал, что папа сказал: лыжи — для ног. А он хочет, чтобы ты имел голову на плечах. Как папа сказал: ноги волка кормят? Разве ты волк? Или ты совсем не хочешь быть человеком?

Лыжи купил дядя. Купил, как я понимаю, назло отцу, с которым он никогда не пил водку, никогда не играл в девятку или лото и постоянно спорил. И когда особенно разгорячался, кричал:

— Аристократ паршивый! Что ты из себя воображаешь? Коммерции советник, Мозер несчастный!...

У дяди детей не было. Наверное, поэтому ему приходилось любить меня...

Помню, он привел меня в Парк культуры имени Горького, затащил на только что открывшуюся тогда парашютную вышку и спросил:

— Прыгнешь?

Мне сделалось до того жутко, что спина, как я помню, превратилась вдруг в сплошной драчовый напильник, но я сказал:

— Прыгну!

— Врешь!

— Прыгну,— повторил я, потому что очень любил дядю.

— Если прыгнешь, даю слово: куплю велосипед,— торжественно объявил дядя.

Но прыгнуть мне не дали. Выяснилось, что детям до шестнадцати лет прыгать не разрешается. Признаюсь, это был единственный случай в моей жизни, когда по-

добное ограничение я воспринял с сердечной теплотой и благодарностью... Велосипед дядя все равно купил.

— За храбрость! — сказал он. — А не прыгнул, так то вина не твоя. Ничего, еще напрыгаешься в этой жизни...

Велосипед был настоящий — двухколесный, сверкающий хромировкой и черным как ночь лаком.

Родители пришли в ужас. И долго не давали мне кататься. Велосипед зашили в старую гардину и повесили на крюк в коридоре. По этому поводу случился колоссальный скандал, и дядя, наверное, целый год не показывался в нашем доме...

Наш дом.

Мне кажется, я могу и сегодня описать не только каждую вещь, но совершенно точно припомнить, сколько вставных, шершавых в пупырышках стекол было врезано в фасад здоровенного, почти черного буфета; мне ясно видится настольная лампа под большим металлическом абажуром, с которого свешивались зеленые, желтые, белые и розовые стеклянные трубочки. Когда лампу передвигали по столу, эти трубочки раскачивались и тихонько позванивали... я могу обрисовать внешность многих еще вещей, которые состояли под строжайшей охраной неписанных семейных законов. Только к чему это, когда теперь нет ни той семьи, ни тех вещей?..

И все-таки вещи исчезли не совсем бесследно. Они сыграли свою роль в моей жизни. Ну, хотя бы оконные шторы.

Шторы были из серого сурового полотна, украшенные алыми деревянными шариками и вышивкой. Мама очень гордилась своими шторами и охотно всем объясняла, что изготовлены они в каком-то знаменитом женском монастыре под Киевом и попали в наш дом совершенно случайно в девятнадцатом году. В то голодное, соскочившее с осей время тяготевший к коммерции отец сумел

выгодно выменять «уникальную вещь» за пуд муки, которую предварительно обменял на что-то еще... Кажется, это была единственная коммерческая удача отца за всю его жизнь — прошлую и последующую...

Шторы с рябинами-шариками запомнились особенно крепко. И вовсе не потому, что у них была заслуженная биография, совсем не поэтому. А вот почему: взрослые играли в лото, их было человек шесть, они сидели вокруг обеденного стола, и толстый лысый Соломон Матвеевич, бухгалтер из Центрокоопа, объявлял клейким голосом:

— Даю восемьдесят восемь, кто имеет — милости просим!

А ну, пятак, за просто так!

У кого сорок семь, тащи совсем,

Есть в квартире двадцать четыре.

И опять:

— Милости просим — сорок восемь!

Они играли в лото по двадцать копеек за карту. Они священнодействовали над деревянными бочатами с цифрами, над синими картонными фишками, а я терся по углам загроможденной мебелью комнаты и злился и ненавидел всех, особенно отца. Всего за каких-нибудь два часа до этого он долго и нудно выговаривал мне, сколь пагубно, позорно, безнравственно и так далее терять пустую время.

«Время — бесценный капитал, и тот, кто не умеет правильно его использовать, пускать в оборот и получать хорошие проценты, неизбежно останется банкротом».

Мне были понятны далеко не все слова мудрой отцовской речи, но смысл я уловил...

Не принимая никакого заранее обдуманного решения, я пробрался потихонечку к окнам и стал срезать старым, порыжевшим лезвием «Жиллет» одну рябину за другой.

Мне ни к чему были эти отделенные от штор красные веселые шарики. Я творил это бессмысленное де-

ло исключительно назло взрослым: нате, подавитесь, милости просим — восемьдесят восемь, пятью пять — двадцать пять...

Конечно, моя диверсия была обнаружена, и отец пришел в неопишемую ярость. Возмездие последовало незамедлительно: тщательно — он все в жизни делал исключительно аккуратно — отец отлупил меня железной канцелярской линейкой.

Линейка была блестящая, гибкая, между основанием и крышкой начиненная зелеными полосками промокающей бумаги. Теперь таких линейек не делают. Бил отец больно. Меня душило отчаяние, ненависть стала еще злее, и я выкрикнул:

— Бей сколько хочешь... все равно... ты — дурак!

Странно, «дурак» не привел его в исступление, напротив, он как-то сразу успокоился, отбросил линейку и совершенно обычным голосом сказал:

— Запомни, щенок, умный никогда не скажет дураку, что тот дурак. Ибо именно в силу своей прирожденной глупости дурак ни в коем случае не поймет умного и не поверит ему. Запомни. Чего ты злишься и почему стараешься сделать всем плохо? Ты знаешь? Нет. А я знаю и сейчас тебе объясню...

Отец долго втолковывал мне, что такое эгоизм, как он вреден и сколько порождает неприятностей на свете. Свою резиновую речь отец оживлял притчами, пословицами и изречениями признанных и непризнанных мудрецов. Это продолжалось, наверное, два часа, а мне казалось — два года...

#### 4

Теперь я редко думаю о жене и, наверное, не мог бы сказать — почему? Живем мы мирно, никогда не ссоримся, но что-то разладилось в нашем доме. Вселенная, говорят, расширяется, и старые звезды отплывают все дальше и дальше друг от друга, вот так и мы.

Клава никогда, я думаю, не жила для себя. И специальность на войне у нее была такая — жалеть: работала она старшей сестрой в нашей санитарной части. Помню, все рвалась на передовую. Дескать, там она нужнее.

А потом, когда война кончилась, поженились, все для ребятшек, для дому старались. Я однажды посоветовал — учись. Обиделась:

— Стесняешься моей необразованности? Ну а если, предположим, я диплом получу или защищу даже диссертацию, тогда как — лучше, по-твоему, стану?

— Что значит: лучше — хуже, — сказал я. — Какая ты есть, такой, конечно, и будешь.

— Значит, и рассуждать не о чем.

Ничего худого вроде и не было сказано, а осадок неприятный остался. Я все хотел к разговору вернуться, высказать Клаве свою точку зрения: нельзя человеку в узком мирке своей семьи замыкаться, скучная это жизнь — плита да корыто, а не получилось. Повода сперва не было. Потом время ушло...

И теперь я о том думал, как бы нам по душам поговорить, как бы начать сближение, а не вышло ничего.

Меня окликнула Тина:

— Там тебя какой-то полковник, или Малянов, или Колянов, к телефону просит. Я не поняла точно. Что сказать — ты дома или тебя нет?

Оказалось, звонил Анов. И нет ничего удивительного, что Тина не разобрала его фамилии. Только Николашка мог так представиться: полковник Коля Анов...

Но дело не в этом, Анов разыскал меня, чтобы пообщаться: умер Пахомов, наш фронтовой комэска.

— Как умер? — глупо спросил я, не успев толком осмыслить слов Анова.

— Обыкновенно. В больнице. Инфаркт...

Странно. Мои товарищи никогда еще не умирали



просто так. Сгорали, разбивались, взрывались... Это было, и, увы, не так редко, но чтобы от сердца в больнице... Пахомов был первой жертвой.

Что-то случилось в мире. Это предстояло еще понять и осмыслить. А пока я мог только бестолково повторять про себя: Пахомов умер, умер Пахомов...

Мы похоронили майора запаса Пахомова на старом московском кладбище.

Кладбище считалось давно закрытым, и пришлось побегать, чтобы получить разрешение на захоронение праха Павла Филипповича в могилу его матери.

Нам пошли навстречу, «учитывая заслуги летчика-истребителя, участника Великой Отечественной войны, кавалера одиннадцати боевых орденов...» и прочая и прочая.

Вечером, после похорон, мне вспомнился почему-то мой дядя, тот самый, что водил меня на парашютную вышку в Парк культуры имени Горького, что подарил велосипед, что постоянно и яростно враждовал со своим родным братом — моим отцом.

Дядя был крупным, грузным, рано поседевшим человеком. Он работал механиком на каком-то военном предприятии: что именно делал на своей работе, я, понятно, не знал, но дома дядя мог все: запаять кастрюлю, врезать дверной замок, отремонтировать электрическую плитку, привести в порядок водопроводный кран, перетянуть старый матрац...

Дядя любил повторять:

— С родственниками хорошо лежать вместе на кладбище, — и усердно развивал эту идею.

— Что значит родственник? Не понимаю! Есть люди — друзья, знакомые, приятели, враги, товарищи... Так почему я должен обожать племянника моей двоюродной тети и целоваться с ним на семейном обеде? Нет, серьезно — почему?

Под влиянием этих рассуждений мальчишкой я старательно объяснял всем друзьям, что хорошо отношусь к дяде вовсе не за то, что он мой дядя, а за то, что он такой человек! Какой? Но этого я как раз и не мог растолковать...

Дядя всегда поддразнивал отца, и, признаться, мне это доставляло колоссальное удовольствие: существовал все-таки на свете человек, который мог сказать отцу все, что ему заблагорассудится, не опасаясь быть выпоротым, наказанным, замученным душеспасительными назиданиями. Пусть это не я, но все-таки такая сила есть...

Однажды в день рождения отца, когда мать сбилась с ног, колдуя над пирогами, когда в дом натащили целую гору странных вещей — канцелярскую лампу с зеленым абажуром, медный не то стакан, не то вазу с аккуратными дырочками в крышке (оказалось, это папиросница!), полотенце, вышитое петухами, дико раскрашенную раковину-пепельницу на бисерной подставке и еще бог знает сколько хлама, именуемого подарками, — последним из гостей явился дядя и приволок совершенно умопомрачительный токарный станок. Не станочек, а мечту любого часовых дел мастера!

Отец растрогался, полез целоваться с братом и все время прищелкивал пальцами от удовольствия.

Но дядя был бы не дядей, если б все просто так и кончилось. Дав отцу налюбоваться машиной, он вытащил из-за пазухи здоровенную книгу и сказал:

— А это я с трудом раздобыл на барахолке. Смотри и чувствуй — бухгалтерская книга товарищества «Мюллер и компания»! Бумага — глянец. И всего шестнадцать страниц исписаны, остальные — целина. Держи!

— Спасибо, — сказал отец, с недоумением принимая мюллеровский гроссбух из дядиных рук, — только для чего мне это?

— Как для чего! Будешь вести бухгалтерию: дебет-кредит, сальдо-бульдó! Ты же всю жизнь мечтал иметь

свое дело. Так имей на здоровье! Производственная база есть, канцелярию откроешь...

Отец ужасно обиделся и долго потом не подходил к токарному станочку.

Почему отец и дядя всю жизнь враждовали между собой, мне было не совсем понятно. Скорее всего их взаимная неприязнь основывалась на том, что отец жил «по правилам», а дядя — нет. Или, может быть, отец жил по одним, а дядя совсем по другим правилам.

Правила нашей семьи, неписанные и вместе с тем неколебимые, как старинные монастырские стены, нельзя было не только нарушить, но даже взять под сомнение. Теперь мне уже не узнать, как складывался этот свод законов, откуда вел свое начало, могу только вспомнить, что было записано на его невидимых страницах.

Котлету и гарнир полагалось есть строго синхронно. Уплетать сначала картошку, а котлету оставлять на «закуску» — грех и крупнейшее нарушение этикета...

Жевать мясо без хлеба — об этом нельзя было даже помыслить. Случись такое в нашем доме, отец посчитал бы, что совершено тяжкое уголовное преступление...

Если кусок хлеба был большой, а кусок колбасы маленький (чаще всего так и оказывалось), колбасу следовало класть на дальний конец куска хлеба и медленно, не проявляя признаков нетерпения, приближаться к цели...

Мыло предписывалось экономить. Все обмылки складывались в старую банку из-под зубного порошка. На некогда густо-синей крышке можно было еще разглядеть изображение белозубого улыбающегося негра в кроваво-красной феске. Когда обмылков набиралось достаточно, из них варилось «негритянское мыло».

Закладывать книги разрешалось только полосками бумаги и ни в коем случае карандашом, линейкой или каким либо более объемным предметом...

Правил было бесконечно много. Не рискну назвать их бессмысленными, скорее они были чересчур уж ра-

циональными и больше всего раздражали меня мелочным однообразием.

Может быть, поэтому редкие отлучки из дому к дяде запомнились как яркие праздники. Хотя, если смотреть на эти посещения взрослыми глазами, ничего решительно праздничного в наших встречах усмотреть невозможно.

Мы кололи дрова в сарае. Дядя тяжелым колуном на длинной ручке, я — обыкновенным топориком. И никто не объяснял, как правильно держать в руках топориче, какие существуют законы техники безопасности при разделке крупных поленьев на более мелкие и совсем тоненькие. Кстати, сколько лет прошло, а я до сих пор ощущаю восхитительный сарайный запах — мудреный букет соснового, чуть кислого осинового и теплого, нежного березового духа...

Мы пили молоко из бутылок, и если мне случалось облиться, дядя только посмеивался:

— Иди умойся, красавчик,— и никогда не упоминал о заляпанной рубашке, которая, «между прочим, на дереве не растет и сама собой не стирается...».

Иногда дядя водил меня в зоологический сад или в цирк. Он был большим любителем всякого зверья. И ни разу не сказал у обезьяньей клетки: «Полюбуйся, на кого ты похож!» или «Вот в кого ты превратишься, если не будешь учиться и вести себя как следует». И мы лузгали семечки, сидя где-нибудь в тихом уголке парка, и пили газированную воду из сатуратора, которую по правилам нашего дома пить было строжайше запрещено (некипяченая, стаканы плохо мыты и так далее).

Словом, если считать отцовский дом миром, то у дяди я жил в антимире.

И только один раз отец и дядя проявили удивительное и совершенно неожиданное единодушие. Случилось это в год, когда, окончив восьмой класс, я объявил родителям, что продолжать образование не намерен и немедленно поступаю на завод в ученики слесаря.

Вот тут и отец и дядя принялись меня ругать долго и дружно... Правда, доводы у них были разные.

Отец говорил:

— Как мне людям в глаза смотреть — единственному сыну не сумел дать образования? На меня же пальцем будут показывать. Это с одной стороны, а с другой — что ты знаешь про слесарную работу, что понимаешь? И вообще, о чем ты думаешь? Хочешь всю жизнь в грязи возиться? И чего может быть интересного пилить, шабрить, заворачивать гайки? Или доктором хуже? Халат белый, руки чистые, со всех сторон уважение. И не болтай ничего о рабочем классе, класс тут совершенно ни при чем. Все твои выдумки от лени. Дурью мучаешься, дурью!..

Дядя говорил:

— Подумай, когда я родился, электричества **не** было. автомобиля не было, самолета не было, радио **тоже** не было. Паровоз смотреть народ толпой ходил! Чудо! Техника растет, время движется. Что теперь твои **восемь** классов? Азбука. Через каких-нибудь пять, семь, в крайнем случае десять лет с **восемью** классами в дворники не возьмут. Не дело придумал. И все рано учиться тебе придется! Только потом, к старости, оно ой как непросто будет. Подумай, для чего лишние трудности создавать? Пользуйся возможностью. У нас с твоим отцом такой возможности не было, а у тебя есть.

## 5

На какое-то время память моя вроде пришла в норму, и картины давно минувших дней поугасли, растворились.

Должно быть, тому способствовали дела текущие.

На высоте семь тысяч метров, когда я завершал одиннадцатичасовой полет, начала разрушаться левая плоскость. Сначала завернуло обшивку крыла перед

элероном, штурвал затрясся как в ознобе. Сразу машина стала валиться в левый крен, зарываясь при этом носом. Удерживать корабль от беспорядочного снижения делалось все труднее, и, когда загорелся еще левый двигатель, я приказал экипажу прыгать. Убедившись, что команда выполнена, выбросился из кабины сам.

Признаюсь, я не особенный поклонник парашютного спорта, и прыжок из горящей машины не доставил мне удовольствия. Но наиболее неприятным и трудным оказался даже и не сам прыжок — тут все прошло нормально. Худшее началось на земле, пришлось писать объяснительные бумаги, надо было искать причины аварии, а так как при каждой аварии непременно бывают виновники, надо было решительно защищаться и деликатно нападать...

Словом, месяц я не мог думать ни о чем постороннем.

Но в конце концов аварийный акт утвердили. Причина — технологические нарушения, допущенные при изготовлении верхней полки лонжерона, — всякую вину с экипажа снимала. Нам даже объявили благодарность. И в качестве компенсации за незапланированные переживания предоставили досрочный отпуск.

И тут моя упрямая память снова принялась за свои фокусы, помимо воли, я опять и опять возвращался в далекое прошлое.

## 6

Маленьким я очень любил цирк. Родители не слишком поощряли это увлечение и старались чаще выводить меня в театр, особенно на представления музыкальные. Водили — ходил. Но после посещения оперы и балета мне никогда не снились ни сцена, ни зрительный зал.

Другое дело — цирк!

По многу ночей подряд после представления я видел

удивительные сны: в воздухе парили, кувыркались, совершали умопомрачительные трюки красавцы акробаты.

Акробаты в моих снах были легкие, как птицы, обтекаемые, как рыбы, и разноцветные — розовые, голубые, нежно-зеленые. Во сне акробаты перемещались под бесконечно высоким куполом, незаметно переходившим в звездное небо.

Акробаты никогда не пользовались никакими снарядами. Случалось, во сне я парил вместе с ними.

Кто-то сказал при мне: «Когда дети по ночам летают, они растут». Мальчишкой я поверил. А теперь сомневаюсь: лет до четырнадцати я рос плохо, был маленьким и тощим. Может быть, впрочем, в моих снах рос не я, а еще неизвестная мне мечта о крыльях?

Летчиков мне случалось видеть. Их синие английско-го покроя френчи с большими накладными карманами и золотым шитьем на рукаве, их фуражки с авиационными эмблемами, их кожаные, сверкающие на ногах краги производили, конечно, сильное впечатление, но помыслить сравниться с этими небожителями и героями, такое не приходило в голову даже во сне.

И только много лет спустя, когда я уже два года проработал на заводе, сдал на разряд и почувствовал себя почти независимым человеком, мне пришла идея постучаться в небесные ворота.

Случилось это так. Наш ремонтный цех не выполнил очередной план по сдаче металлолома, и кто-то из шустреньких предложил: махнем в выходной день на Ходынку. Там железного барахла — тысяча тонн!

Мы и махнули. И, сами того не заметив, очень скоро, бросив собирать старое железо, вылезли на край летного поля.

Помню, я задрал голову и увидел: по нежно-голубому, казалось, скользкому небу бесшумно передвигается странный летательный аппарат — легкий, как стрекоза, почти прозрачный.

Я не сразу сообразил, что аппарат этот — планер.

Планер спустился совсем низко, было отчетливо видно, как шевелятся кончики его тонких крыльев (тогда я не знал, что эти подвижные пластины называются элеронами), как отклоняется часть хвоста (это был руль поворота). Вот стрекоза коснулась земли и медленно, будто устало, опустила крыло на траву.

И почти сразу общий план сменился сначала средним, а потом крупным и наконец очень крупным планом; я увидел лицо пилота.

Высокий загорелый лоб, носик пуговкой, ни единой морщинки. Пригляделся: рот пухлый, почти детский, щеки — яблоками. «Пацан!» — совершенно огорошенный подумал я и тут же по мимолетному характерному движению (пилот поправил сползшую лямку лифчика под комбинезоном) сообразил: девчонка! И мысленно сказал себе: «Подумаешь! Если эта тютя может, то я тем более смогу!»

Так началась растянувшаяся уже на тридцать три года моя дорога в авиацию.

В аэроклуб я поступал секретно. Боялся, что через неделю меня оттуда вышибут, и поэтому ничего никому не сказал. Моя причастность к летному делу обнаружилась совершенно случайно: мать нашла припрятанные в тумбочке шлем, очки и кожаные перчатки с раструбами.

— Что это? — спросила мама.

Врать я был не приучен и объяснил.

— Ну что же, — тихо сказала мама, — раз уж взялся ты за такое дело, дай тебе бог удачи.

Почему-то при этих словах я чуть не разревелся!

Отец реагировал иначе:

— Поздравляю! Мухи тоже летают. И откуда это у тебя? Легкой славы захотел? Больших денег или орденов? А работать как нормальный человек не желаешь?.. Говорил тебе, дураку: учись, пока я жив, так нет...

И все-таки в этот день он подарил мне часы. Наручные часы, переделанные из карманных и стучавшие так



громко, будто отец упрятал в блестящий корпус пару бешеных кузнецов...

Да-а, работать отец умел. Этого не отнимешь. Шумные его часы пролетали одиннадцать лет. Триста шестьдесят три боевых вылета выдержали, семь раз прыгали с парашютом, дважды — вынужденно, и погибли в руках моего любознательного сына, который в ту пору не был еще электронщиком, но уже проявлял повышенный интерес к природе вещей, особенно игрушек и закрытых механизмов...

7

В тот вечер я вернулся с полетов довольно поздно. Как всегда, как уже много лет подряд, меня встретила жена. И я сразу почувствовал: Клава чем-то встревожена. Давным-давно еще я заметил: если Клаве не по себе, она как-то сжимается, будто делается меньше ростом и плотнее, и начинает говорить с неприятным замедлением...

— Слушай,— сказала Клава,— ты должен поговорить с Тиной. У тебя это лучше получается, тебе она не хамит...

— А что произошло? — спросил я, стараясь не выдать раздражения.

— Произошло или еще не произошло, но произойдет, я не знаю... Только ее новый приятель не внушает мне никакого доверия... По-моему, Тина позволяет себе и ему лишнее...

— Позволяет? Лишнее?.. Интересное кино...

— Но Тина твоя дочь, и мне кажется, что весьма сомнительного качества ирония тут совершенно неуместна...

— Верно. Я тоже всегда думал, что Тина моя дочь. И, если не ошибаюсь, моей дочери пошел с апреля двадцатый год?

— Ты полагаешь, двадцать лет очень много?

— Во всяком случае, вполне достаточно, чтобы позволять или не позволять себе лишнее без санкции родителей.

— Почему ты разговариваешь со мной таким странно пренебрежительным тоном? Разве в моей тревоге есть что-нибудь противоестественное, ненормальное, худое?

— Разреши уточнить, а во сколько лет ты сама начала позволять, пользуясь твоей терминологией, лишнее?..

— Тебе не стыдно?..

— По моим расчетам и если мне не изменяет память, это случилось несколько раньше... — И тут я осекся. У Клавы сделалось такое страдальческое, такое отчужденное и неприятное лицо, что я счел за благо переменить пластинку:

— Хорошо, я поговорю с Тиной, только, пожалуйста, не расстраивайся раньше времени.

Теперь я, пожалуй, и не отважусь сказать: красивое лицо у моей жены, или всего лишь очень выразительное, или, там, запоминающееся. Сколько лет прошло — пригляделся. Но к чему невозможно привыкнуть — это к мгновенной смене оттенков ее настроения. Скрыть Клава ничего не может. Любое ее переживание будто высвечивается в глазах, на губах, на кончике носа даже: задумалась — видно, обиделась — тоже видно, сейчас заплачет или готова рассмеяться — лицо ее выдает...

Поговорю. Сказать просто, а как и, собственно, о чем говорить?

Не могу же я позвать взрослую девушку и так, за здорово живешь, потребовать у нее отчета?

Странно, никто и никогда не занимался моим, как теперь принято называть, сексуальным образованием. И ничего. Все обошлось без особых затруднений.

Почему же я должен просвещать великовозрастную дочку?

Впрочем, мне повезло, и вести душеспасительного разговора не пришлось. В двенадцатом часу ночи, поставив машину в гараж, я возвращался к дому. Шел медленно, напрямик через заросший сиренями дворик. И увидел: стоит длинный, широкий в плечах парень, а рядом — Тинка. И не просто рядом, а повиснув у него на шее.

«Так,— сказал я себе,— все ясно»,— хотя ничего решительно не было ясно.

Приблизившись к ребятам, я шлепнул Тинку. Дескать: «Эй, не на собственном же дворе и на отцовской дороге любовь крутить!»

Тинка как ужаленная отскочила от парня. А он мгновенно схватил меня за грудки. Хорошо схватил — крепко и очень, очень решительно! Молодец мужик!

— Папа,— пискнула Тинка,— это ты?

Парень разжал руки.

— Добрый вечер,— сказал я и представился, протянув малому руку.

— Павел,— ответил он и отвел глаза в сторону.

— Не обижайтесь, Павел, но пока что она еще отчасти и моя собственность,— сказал я и еще раз шлепнул Тинку.

Он улыбнулся и спросил:

— Может, уступите?

— Ого! Однако вы решительный человек, Павел, весьма решительный...

— Он мастер спорта...— снова пискнула Тина.

— А ты, обезьяна, молчи,— сказал я,— могла бы, между прочим, и познакомиться со своим мастером спорта, могла бы его в дом пригласить...

— Я еще не успела нашу мамусю подготовить. Я хотела...

— Ну, вот что: десять минут доцеловывайтесь и приходите. А «мамусю» беру на себя...

Появление Павла в доме прошло вполне благополучно. Во всяком случае, Клава была приветлива и сдержанна. Ночью она спросила:

— Ты успел поговорить с Тиной?

— Успел,— соврал я,— успел.

— И что ты думаешь?

— Я думаю, все в порядке. По-моему, Тинка вполне созрела, чтобы позволять себе «лишнее»...

Неожиданно Клава тихо заплакала. Я стал ее успокаивать: мать все-таки! Нам, мужикам, не понять...

А потом мы любили друг друга, как давно уже не любили — отрешенно и, казалось, бесконечно.

*Клава — Лесе*

Лесик, милая! Представляю, с каким выражением ты взяла в руки это письмо: «Ну, конечно, ей плохо, вот и вспомнила». Так? Мне и правда сейчас не по себе, и хочется поделиться с тобой, и очень нужно получить твою отповедь. Пожалуйста, не сердись, и послушай меня, и ответь.

Внешне, во всяком случае для соседей, все в нашем доме как всегда, то есть — хорошо и даже отлично. Но это только внешне, Леська! Внутри у меня все дрожит и холодеет. Нет, на этот раз дело не в личных делах моего благоверного, не в его, как ты говоришь, очередном «заходике»... Еще в прошлом году у нас был разговор. Я сказала тогда: «Тебе исполняется пятьдесят... Понимаю: летать — твоя профессия, твоя жизнь и все такое. Но я устала. Больше половины жизни я жду. Жду каждый день — вернешься или не вернешься...»

Я много чего наговорила ему в тот день. Вспомнила войну, вспомнила, как увидела на двери штабной землянки его портрет в траурной рамке, как читала, не понимая слов: «Геройски погиб над целью...» И как потом выяснилось, что произошла ошибка, он вернулся, не погиб...

Он слушал меня терпеливо. Он умеет слушать, ты знаешь. А потом, когда я выговорила до самого дна, сказал: «Понимаю, Клава, ты устала. Скажу по секрету: я тоже устал...» Господи, как я обрадовалась тогда, Леся, не могу даже описать.

Но прошел юбилей. Отпраздновали хорошо, торжественно, ему дали четвертый орден Ленина и навезли полную квартиру цветов, подарков, телеграмм! И что же? Ничего! Как летал, так летает. Ну, я подождала немного и спрашиваю, что же будет дальше? Он смотрит на меня как на полную идиотку и тоже спрашивает: «А что должно быть дальше?» Я напоминаю: мы же говорили, ты признался, что устал. Пора кончать. Все равно когда-нибудь это должно случиться... Ты на высоте: Герой, заслуженный, знаменитый... Сейчас самое время уходить...

Он фыркнул и говорит: «Тебе действительно нужно отдохнуть, Клава, могу путевку устроить. Хочешь?» И тут на меня накатило: я начала орать (зря, конечно), что он эгоист, что он живет только для себя и своих удовольствий, что ему плевать на семью, ну, и все такое...

«Выходит, я больше не гожусь?» — спросил он, а я уже не могла остановиться и наговорила еще больше: да-да, не годишься... Тогда он перестал смеяться и сказал: «Спасибо: предупредила заранее» — и ушел.

Теперь тихо, все вроде нормально, все как всегда, а на сердце — тоска и беспокойство. Что-то должно случиться.

Леся, милая, обругай меня, как ты умеешь. Сделай это поскорее. Только на тебя и надежда. Клава.

## 8

Удивительное свойство имеет время — то исчезает, то тянется медленно-медленно. Как давно это было — начало войны, а порой кажется — вчера...

Войну я встретил на Севере, под Мурманском. С пер-

вого дня сделалось ужасно трудно: наши ишачки не могли соперничать с их мессерами задыхались на вертикалях, скорости не хватало, да и самих машин было у нас маловато, кроме того, давал себя знать и двадцатичетырехчасовой световой день...

Самое навязчивое и не тускнеющее с годами видение войны — падающие с вражеских самолетов бомбы. Вот они кувыркаются в небе, вот стабилизируются, вот летят к земле нелепыми свистящими огурцами, и грохочут черные взрывы, и поднимается земля, а огонь схватывает строения и бежит по сухой аэродромной траве, перебрашивается на зеленый еловый подлесок. И все кругом едко пахнет дымом горьким, саднящим горло запахом тоски и разрушения...

Мы дрались и победили — это известно всем, даже самым маленьким детям. Мы поднялись в минувшей войне на невообразимые высоты героизма, торжества человеческого духа — это тоже известно всем; и мы не любим и, вероятно, правильно не любим вспоминать о долгой дороге унижений, через которую вынудила нас пройти война.

Вжиматься в шершавую, холодную землю под артиллерийским обстрелом противника и молить бога, в которого ты не веришь, — пронеси, господи, пронеси! — это ли не унижение?

А прятаться от бомбовых ударов чужой авиации в наспех отрытых, отдающих тленом щелях, не ходить, а ползать по собственной земле, как это назвать?

Прошли миллионы лет эволюции, пока люди поднялись на ноги, и вот, чтобы выжить и отстоять жизнь, чтобы продолжать быть человеком, пришлось снова опуститься на четвереньки, закапываться в землю...

Мы правильно не любим вспоминать об этом, но как забыть? Такое не забывается.

В сорок третьем перегоняли новые самолеты с завода в действующую армию, я случайно попал на часок домой.

Что ж я запомнил из этого часа, который принял как награду, как высший орден несуществующей Судьбы? Руки матери — иссохшие, дрожащие, хотя рукам ее было тогда меньше лет, чем теперь моим... И жалкий быт нашей обедневшей квартиры: железную печурку с трубой, выведенной сквозь оконную раму, забитую рыжим листом железа вместо стекла... И поредевшую мебель, и книги, разобранные на листочки — для растопки... И мерзкий вкус стывшего на зубах эрзацкого жира... И налитые водой ведра, кувшины, кастрюли — резерв на случай очередного отказа водопровода... И как верх нелепости — фотографию отца в траурной рамке...

Отец погиб в ополчении. Под Вязьмой.

Сколько лет прошло с той поры, а траурная фотография молчаливо напоминает: ты виноват.

В чем виноват?

Мало любил. Но разве это вина?

Не сумел понять? Но это скорее беда.

Недостаточно жалел? Пожалуй, в этом я действительно виноват...

Мне было, наверное, лет семь, когда отец очень торжественно привел меня в сберегательную кассу и открыл счет на мое имя.

Помнится, в тот день он был в любимом чесучовом пиджаке, едва ли не дореволюционного пошива, в серых парусиновых полуботинках. Сначала отец заставил меня заполнять какой-то листочек, диктовал по буквам, что надо было написать, потом велел поставить подпись. Я нацарапал свою фамилию, протянул длинный хвост от последней буквы вниз и вправо и пририсовал рыбку. Отец не заругал меня за рыбку. Вообще он был в хорошем настроении и долго объяснял, как теперь будут расти рубли, помещенные на хранение в сберегательную кассу. Признаться, эта тема меня не взволновала, и я толком не усвоил, что значит получать проценты на ка-

питал. Куда большее впечатление произвел плакат, украшавший ядовито-зеленую стену: «Храни излишки не в пивной, а на сберкнижке». Между прочим, плакат этот остался для меня совершеннейшей абстракцией и во все последующие годы: сколько бы я ни зарабатывал, излишки почему-то никогда не образовывались...

Теперь я понимаю — отец был таким, каким был. И очень хотел, чтобы я успел в жизни больше, чем он.

Беда наших отношений заключалась лишь в одном: у него и у меня были совершенно разные понятия об успехе, о звезде, к которой всякий человек должен идти и всю жизнь верить — дойду!..

Тут появился Алешка — мой сын. Почему-то я заметил заношенные хлопчатобумажные брюки, выстроченные некогда красными, а теперь бледно-розовыми нитками, черный свитер с растянутым высоким воротом и небрежно заштопанными локтями. Алешка помялся и попросил двадцать рублей до зарплаты.

— До какой зарплаты? — спросил я.

— До четырнадцатого, — сказал он.

— А как те двадцать рублей, что ты брал до двадцать восьмого позапрошлого месяца? — спросил я и невольно подумал: «Все-таки кое-что перешло ко мне от отца».

Алешка не смутился:

— Те отдам из премии. А хочешь, могу перехватить у матери.

— Не перехватывай, — сказал я и дал ему две красные десятки.

— Спасибо. — И, будто только что вспомнив, достал из кармана листок. — Вот посмотри, может, тебе интересно будет.

На листе, к моему удивлению, оказались стихи.

Я не помню отца, он ушел молодым  
и с войны не вернулся домой.  
Говорят, он погиб совершенно седым  
и был назван посмертно — герой.



У меня вырос сын, как две капли воды,  
замечают соседи, похож на меня,  
только вот седины сын не знает пока,  
а моя голова двадцать лет как бела.  
Знаю: это война у меня и тебя  
черноту отняла, раз прижавши к земле,  
и обратного хода, увы, не дала —  
ни тебе и ни мне,  
ни отцу — лишь земле,  
что цветет, как всегда, по весне каждый год  
и белеет зимой, одевается в лед...  
Пусть нехитрые строчки

не заденут тебя:

сын — в порядке,

в порядке — земля.

Остальное проходит, как должно проходить,  
никому не случалось еще дважды прожить.

— Что это? — спросил я, дочитав.

— Стихи.

— Догадываюсь. Но неужели их сочинила твоя ученическая машина?

— Нет, приятель написал. Как?

— Не знаю, — сказал я, — не моя сфера понимания, мне проза как-то понятнее.

— Мне тоже, — сказал Алеша и ушел.

А я подумал: «Зря, наверное, про старый долг напомнил...»

## 9

Какими мы были на войне?

По моим сегодняшним понятиям — совсем, совсем еще мальчишками. Конечно, в те годы такие мысли не приходили в голову.

Война — горе. Тяжкое, общее горе. Это мы поняли далеко не сразу. До первого соприкосновения с противником меня лично не покидало какое-то радостно-вышенное чувство, отдаленно напоминающее предстартовый озноб на лыжных состязаниях или шальное воз-

буждение перед началом футбольного матча, в котором тебе предстоит играть центрального нападающего. Но стоило попасть под настоящий огонь, и все радужные представления выветрились.

Война прежде всего заставила преодолеть себя, свои привычки, желания, склонности, свой мелкий, еще вчера вполне простительный эгоизм. Война оказалась суровой и беспощадной школой. Здесь действовала двухбалльная система: или — или. Сдал зачет — жив, не сдал — не пересдашь...

К учителям и экзаменаторам, ко всем, от кого можно схлопотать более или менее заслуженные неприятности, я всегда испытывал чувство враждебности.

Классе, наверное, в пятом в нашу школу пришел новый математик. С первого знакомства он показался мне строгим и несправедливо придирчивым. И я сразу же стал ждать от него подвоха.

Помню, как я царापал решение какого-то примера на доске, и математик спросил:

— Объясни, пожалуйста, почему ты написал плюс двенадцать?

Я знал: минус на минус дает плюс, но, раз он спрашивает почему, да еще говорит пожалуйста, тут что-то не то. Осторожно. Молчи пока!..

— Так как ты думаешь, откуда взялся плюс?

Мне сделалось жарко. Все внутри задрожало. Подумал: «Пропадаю». Но я не хотел пропадать и поэтому ответил злым, срывающимся голосом:

— Ничего я не думаю... я решаю...

— Как не думаешь? Решать и не думать нельзя...

— Если я неправильно решаю, поставьте мне двойку, а-чего говорить вообще...

— Ты правильно решаешь, но я хочу, чтобы все в классе знали, откуда появился плюс.

Как я ненавидел этого человека! Ну чего издевается, чего делает из меня дурака?..

— Минус на минус дает плюс. Ясно?! — нахально за-

явил я и дерзко поглядел на математика.— Или скажете, неправильно я говорю?

— Правильно. Но как понимать — дает?

— Если сказать,— с остервенением почти выкрикнул я,— завтра ты не пойдешь в театр, получится, что на самом деле пойдешь. Не — минус, два не — два минуса... Теперь понятно?

— Понятно. Молодец...

Так бы на войне сдавать экзамены.

*Леся — Клав*

Ну, дождалась я, подружка! Тебя кольнуло — сразу вспомнила. Значит, ругать тебя надо? Советы давать? А какой толк давать советы, когда ты их все равно не исполняешь?

Или забыла, что я тебе говорила, когда ты ему докторшу ту простила? Ту самую, с которой он в Крым катался! Детей тебе жалко стало, семьи... Может, ты и права тогда была. И семью себе сохранила, и спокойную жизнь. Но ежели оно так, то чего теперь мужика дергать? Ты ему говоришь: брось летать — и хочешь, чтобы он тебе благодарность объявил. А чего он стоит без своей работы? Двести пятьдесят рэ пенсии, конечно, денежка, только ему еще и уважение нужно и почет.

Перестань его учить жить, перестань. Терпела столько, терпи дальше. Не послушаешь меня — берегись: тогда не сбежал, так теперь точно сбежит, сбежит с какой-нибудь шустрячкой лет двадцати пяти. Ему твое беспокойство что ножик острый в горло.

Ты от него больше требуй! Ясно? Может, тебе столько и не надо, а все равно требуй. Пусть удивляется и тревожится. Ему молодым надо себя чувствовать, а не старым. Про годы ему и без тебя жизнь напоминает.

Я, конечно, с летчиком не жила, но не думаю, чтобы твой очень уж от других мужиков отличался. Все они одного хотят, чтобы жизнь перед ними кланялась, а не

они перед жизнью. Это вот учти. А что подробностей касается, сама сообразишь — ты ведь умом не обиженная.

О себе не пишу, потому как понимаю: тебе сейчас не до моих забот, ты одну мысль в голову забрала и уже ни о чем больше думать не можешь. Ну, ни пуха ни пера, и пошли меня к черту. Леся.

10

Очередной рабочий день начался совсем не так, как хотелось. С утра я зашел к Валенчусу подписать полетный лист и, как назло, застал в кабинете Самарского. Они спорили, и Валенчус кипятился, позволял себе далеко не парламентские выражения.

— Какого черта, Илья Павлович, вы являетесь с вашими гениальными идеями именно сегодня? Конец месяца, есть график, и есть план...

— Но, кроме того, Валентин Григорьевич, существует производственная необходимость. Поэтому я и настаиваю: до замены штока и золотника гидроусилителя полетов не производить...

— А завтра вы предложите заменить еще и главный цилиндр и гидроаккумулятор, а заодно и перерегулировать все тяги?

— Не знаю пока, хотя в принципе это вполне возможно.

— Нет! Это не-воз-мож-но! Так нельзя работать!

И, будто впервые заметив меня, Валенчус прищурился котячьими своими глазами и спросил:

— А тебе чего надо?

— Полетный лист подписать... — сказал я и подумал: «Мог бы и полюбезнее, я-то ни при чем».

— Ты собираешься облетывать «четверку»? А он, — Валенчус мотнул головой в сторону Самарского, — собирается снимать гидроусилитель. Так что будем делать? —

Я не понял, к кому он обращается, и предусмотрительно промолчал.

— Я тебя, тебя... спрашиваю: что будем делать?

«Псих,— мысленно произнес я,— и что за привычка чуть что — орать, оскорблять, задавать людям вопросы, на которые ты обязан отвечать сам?» А вслух я сказал:

— Ты, Валентин Григорьевич, начальник, тебе должно быть виднее, что делать...

Когда я вышел от Валенчуса с исправленным и подписанным полетным листом, Самарский догнал меня и в коридоре с ухмылкой спросил:

— Почему же ты не сказал начальнику того, что хотел сказать?

— А вам известно, чего я хотел и чего не хотел говорить?

— Ну-ну-ну? Для этого не надо быть особенно умным. Тебя же подмывало, я это отлично видел, сказать Валентину Григорьевичу: «Перестань орать! Нам надоели твои извержения. И что за дурацкая привычка задавать вопросы, на которые отвечать полагается тебе?» Правильно?

— Возможно...

— Да не возможно, а совершенно точно. Раньше ты был посмелее. Поершистее... А вообще не расстраивайся, сегодня все равно полетов не будет. Ручаюсь.— И он ушел своей плавненькой походкой.

Как он сказал? Был посмелее? А ведь сообразил, куда лягнуть, чтобы больнее. И я невольно подумал: а как бы я поступил в подобной ситуации лет пятнадцать назад?

— Кончайте, ребята,— сказал бы я тому, кто сидел в кресле Валентина Григорьевича, и тому, кого сменил Самарский.— В чем, собственно, дело? Дергает или не дергает управление? Через сорок минут я скажу вам точно.— Пошел бы на стоянку и слетал.

Могло задержать, тогда я развернулся бы с кренчиком в пятнадцать градусов и тихонечко присел... Но мог-

ло и не задержаться... Тогда б я снизился над полосой, перевернул «четверку» на спину и так, вверх колесами, вниз головой, прочесал бы надо всем аэродромом: вот судите сами — дергает или не дергает!.. Пусть бы кто и сказал мне:

— Много себе позволяешь!

Я знал, как отвечать:

— Не больше того, что мне разрешают на показах новой техники в Тушине...

«Ну а если сегодня вот так же?» — подумал я.

А что? Не могу?

Могу!

В раздевалке никого не было. Я начал не спеша переодеваться, мысленно во всех подробностях представляя себе полет.

А после полета я им скажу:

— Все правильно вы понимаете: летчиков надо учить, проверять, воспитывать, предупреждать и время от времени ставить на место. Рисковать вредно, но совсем не рисковать невозможно. Так давайте делить ответственность пополам. И особенно не волнуйтесь, нам ведь не меньше вашего жить хочется, у нас тоже дети растут...

## 11

Я прошел по коридору и постучал в кабинет врача. Вера Сергеевна была одна. Увидела меня и ухмыльнулась:

— Что это ты нынче невеселый?

— Тот, кто постоянно весел, тот, по-моему, просто глуп, так, кажется, сказал поэт?

— Повторяешься. Раньше ты был находчивей.

— Когда — раньше?

Она не ответила, подвинула манометр к краю стола, сказала:

— Давай руку, — и стала надевать на меня манжету

прибора, которым измеряют кровяное давление, крючок почему-то не хотел застегиваться, она злилась. Совладав наконец с застежкой, снова ухмыльнулась и сказала:

— Когда, спрашиваешь? Ну, допустим, когда вместо маршрута на Казань выполнял маршрут ко мне, на улицу Жуковского, или когда мы с тобой на машине в Алушту ездили...

— Все проходит, Вера. И это, между прочим, не мой, а, если помнишь, твой диагноз.

— Верно. Проходит. Помолчи пока. Сто тридцать на восемьдесят. Нормально. Как спал?

— На боку.

— Опять повторяешься.

— Вера...

— Ну что? Злая и глупая баба? Увы... Ты прав. На меня иногда находит. Знаю. Прости...

Тут вошла старшая медсестра Леночка, а я вышел.

В следующий раз, завтра например, я скажу ей, что уже давно следовало сказать:

— Для чего травить себя воспоминаниями? Кто из нас виноват? Думаешь, я забыл, как мы возвращались из Ялты? Как подгадывали время — надо было ехать ночью, чтобы никто не встретил нас вместе? Что я тогда говорил: «Давай наплюем на все. Хочешь, я поставлю машину прямо под твоими окнами, и пусть завтра все задохнется от возмущения? Ну, чем мы рискуем? Мне объявят выговор, тебе порекомендуют перейти из санчасти в городскую больницу, а через полгода никто даже и не вспомнит об этом». Говорил? А ты? Ты стала объяснять, какая у меня хорошая жена и какой симпатичный сын, как трудно будет перешагнуть через прошлое... А на самом деле думала совсем о другом. Я знаю. Ты прикидывала, сколько осталось до тихой старости с Константином Константиновичем. Тут все выглядело вполне безоблачно. А свяжись со мной по-настоящему — черт его знает: может и года не пройти — останешься вдовой... Вот о чем ты думала, Вера. И я не осуждаю тебя.

А теперь, когда Константина Константиновича нет, ты начинаешь: «Помнишь то, помнишь это?»

Все помню — и хорошее и плохое. Прощать научился, а забывать пока еще нет. И пожалуй, не научусь...

12

На самолетной стоянке меня встретил Акбашев.

— Машина осмотрена и заправлена полностью. К вылету все готово, — доложил и первым протянул руку.

— Здравствуй, — сказал я, — ты чего такой небритый?

— А когда бриться? Вчера с работы ночью ушли в половине двенадцатого, а сегодня в шесть ноль-ноль машину расчехлили. Так когда бриться?

— И чем вызван такой энтузиазм?

— С Самарским будет и не такой еще энтузиазм! Надо не надо, а он работу найдет. Я дело делаю, он бумагу пишет. Если что не так, у него все зафиксировано и отражено: он предупреждал, он указывал, он предполагал... Кто виноват? Исполнитель — я или тот, кто летал, виноват, — ты!

— Мрачно рисуешь...

— Может, мрачно, но так оно и есть. Мне пятьдесят третий год пошел. Сколько лет я зазоры устраняю? Больше тридцати. Научился кое-что понимать. Научили...

Тут зазвонил телефон. Акбашев поднял трубку, послушал и сказал:

— Вылет откладывается на час. Звонили от главного.

«От главного? — подумал я. — С чего бы? Странно».

Я отошел от машины, прилег на траву и сказал себе: «Хорошо бы главный сам приехал».

Правильно говорится: нет хуже ждать и догонять... Правильно! Делать нечего, уйти некуда, и в голову лезут самые несуразные мысли: «Ну, допустим, главный приехал...» И я стал конструировать возможный разговор с ним:



- Здравствуйте! — говорит он.
- Здравия желаю, — отвечаю я.
- Как дела?
- Пока никак. Сидим.
- Почему не летаете?
- У Самарского есть соображения, Вадим Николае-

вич...

В этот момент главный наверняка повернулся бы ко мне спиной, взял за локоть Самарского и сказал тихим, шелестящим голосом:

— Какие у вас соображения, Илья Павлович? — и зашагал с ним вдоль кромки бетона, в сторону от лишних свидетелей, и слушал бы Самарского, склонив седую голову на одно плечо...

Впрочем, разговор мог быть и иным:

- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Почему не летаете?

— Не летаем и не скоро полетим, Вадим Николаевич. Пока вы не выгоните к чертовой матери Самарского, толку не ждите: вчера он взял под сомнение демпфер передней стойки, сегодня — бустер элеронов, завтра он найдет что-нибудь еще... При такой системе вероятность неприятностей можно и вовсе дотянуть до нуля, если никогда и ни на чем не летать. Кажется, к этому и сводится генеральная идея Самарского...

Снова зазвонил телефон. Акбашев послушал и сказал:

— Приказано заводить машину в ангар.

Я вызвал по телефону Валенчуса:

— Валентин Григорьевич, машину забирают в ангар, мне что прикажете?

— А пошел ты... — незлобно сказал Валенчус и повесил трубку.

Клянусь всеми святыми, на этот раз я не обиделся. Только представил себе раздраженное лицо Валенчуса,

его кривящийся в нервном тике рот и растянутые в щелочки глаза. Это работа Самарского. Факт!

«Все,— решил я.— Хватит! Раз такое дело получается, сам пойду к главному. Пусть они грызутся как хотят, пусть, но я им не извозчик и не мальчишка. В конце концов лично ко мне пусть относятся как угодно, но уважают труд и человеческое достоинство. Не желаете уважать — увольняйте. Уйду на пенсию и буду разводить гладиолусы, как Спицын...»

Но я не успел закончить проект моего нового выступления: позвали к городскому телефону.

— Жена просит,— сказал диспетчер, подавая трубку.

Это было странно. Клава никогда не звонила на аэродром, даже если я задерживался на ночных полетах. Так уж было заведено с самого начала.

— Что случилось? — спросил я в ядовито-зеленую трубку.

— Ничего особенного. Не волнуйся. Просто я хотела предупредить: мы с Тиной едем сейчас к маме. Маме что-то нехорошо с сердцем. Соседи вызвали «неотложку» и позвонили мне. Когда ты будешь дома?

— Через час!

Сначала я решил было уехать, никого не предупреждая: провались все пропадом! Но потом все-таки зашел к диспетчеру и сказал:

— Меня вызвали домой. С тещей плохо. Если что, позвони на квартиру...

### 13

Не успел выехать со стоянки, как меня остановила Вера.

— В город?

— В город.

— Подвезешь?

— Садись.

Сначала мы ехали молча. Разговаривать, во всяком случае мне, не хотелось. Потом Вера спросила:

— Отлетался?

— Нет.

— Чего?

— Машина не готова.

Мы снова помолчали, и она снова спросила:

— Тебе плохо?

— Почему? Обыкновенно.

— Зачем ты врешь?

— Чтобы не отличаться от большинства и не выпадать из общего ряда. С тех пор как я постарел, мне уже не хочется быть исключением...

— Скажи, а мы могли бы снова поехать в Алушту?

— Когда? И для чего?

— Не притворяйся...

Мне не хотелось ее обижать, не хотелось злиться, и все-таки я сказал совсем не то, что надо было сказать:

— Но для этого вовсе не надо ездить так далеко. Можно свернуть в ельничек...

— Останови машину.

Я остановил.

— Никогда, никогда я не ожидала от тебя такого примитивного хамства.— Вера открыла дверцу, но не вышла, а заплакала.

Терпеть не могу, когда плачут. И никогда не знаю, что делать в таких случаях — утешать или возмущаться? Я сказал:

— Может, пока что поедem дальше?

Вера прихлопнула дверку, перестала плакать, нахохлилась и отвернулась к окну. Я аккуратно включил скорость. Машина легко раскатилась на пологом спуске и на ста двадцати километрах пошла в гору.

Справа остались ремонтные мастерские, мы проскочили мимо картофельного поля, мимо одиноко стоявшей сосны, мимо голубого щита указателя, мимо частого елового перелеска...

— Что ж ты? — спросила Вера. — Или это не тот ельничек?

— Тот.

— Так что ж ты?

— Лучше в другой раз, чтобы без слез и с легкостью на душе.

— Замолчи, — сказала Вера, — очень тебя прошу: замолчи.

Я довез ее до подъезда горздрава. Перед тем как выйти из машины, она подкрасила губы, подправила ресницы маленькой щеточкой. И, прощаясь, сказала:

— Спасибо. А ты действительно постарел. Жаль.

### *Клава — Лесе*

Лесик милая! За письмо спасибо, ты даже не можешь представить, как оно меня обрадовало и поддержало. Только вот совет твой даже и не знаю, как о нем писать... Я, конечно, не святая, тебе это известно, я от тебя ничего никогда не скрывала. Знаешь ты поэтому и то, что «требовать», как ты пишешь, я совершенно не умею. Наверное, это не достоинство, и, возможно, в мои годы стыдно писать про такое, но что делать, когда я всю жизнь умела только уступать... Врать не стану: уступала с большим или с меньшим удовольствием, но все-таки — с удовольствием. А вот агрессивности в моей натуре никогда, с первого и до последнего дня, не было. Сколько ни старайся, мне не сыграть той роли, которую ты мне рекомендуешь...

А потом: ну, допустим, я последовала бы твоей рекомендации и стала изображать требовательность, проявлять настойчивость, что он подумал бы обо мне? Скорее всего, что я стараюсь скрыть или искупить какую-то вину перед ним или что я просто с ума схожу на старости лет?..

Ты, Лесик, умница, писала от чистого сердца, я знаю, но только так, как ты рекомендуешь, я не сумею.

Новостей пока никаких нет. Внешне все распрекрас-

но, а на душе тоска и тревога. И что-то плохое должно обязательно случиться. Чувствую, жду, хотя толком ничего объяснить не могу, да и не пытаюсь.

Очень хотелось бы повидаться.

В письме всего не расскажешь.

Может, выкроишь время и приедешь к нам?

Приезжай! Клавя.

## 14

Дома было, как всегда, прибрано. Над обеденным столом темно-бордовым снопом топорщились гвоздики. На ящике телевизора лежала записка:

«Милый, в холодильнике есть ветчина и сосиски. В белый кофейник засыпан кофе, только залить кипятком. Если хочешь поесть основательно, бульон в голубой, а лапша — в маленькой дюралевой кастрюльке. Разогрей. Позже позвоню. Кл.»

Я смотрел на аккуратные синие буковки, выведенные рукой Клавьи, и непонятно почему чувствовал, как во мне подымается волна тоски и раздражения.

Ветчина в холодильнике.

Лапша в маленькой кастрюльке.

Алеша в институте.

Флоксы на столе.

Возможны варианты:

В холодильнике — колбаса.

В кастрюльке — рис.

Алеша на тренировке.

На столе — розы...

Ну а, собственно, чего я хочу? Чтобы в холодильнике было пусто? Чтобы в немытой посуде сустились тараканы? Чтобы на столе лежала старая газета?....

«Ты свинья», — сказал я себе и прилег на диван.

Лежал, смотрел сквозь балконную дверь на голубой прямоугольник неба, очень чистого, по-летнему высоко-

го, слегка вылинявшего, старался не думать ни о чем определенном и вместе с тем думал обо всем сразу.

Почему мне все чаще и чаще хочется сказать Клаве: милая моя, хорошая, образцово-показательная жена, ты замечательная, превосходная женщина, но я, извини меня, пожалуйста, по горло сыт и твоим вниманием, и твоей круглосуточной заботой обо мне. Скорее всего ты в этом нисколько не виновата, но и я не виноват... Все хорошо в меру — даже шоколадом, даже зернистой икрой, да любым наилучшим харчем можно облопаться...

Постарайся понять, Клава: и хорошего не должно быть слишком много...

И безо всякой связи с предыдущим мне вспомнился вдруг далекий гарнизон, где начиналась моя авиационная служба.

Неустроенность, грязь, тощища. Мы жили на строго лимитированном бензиновом пайке и летали совсем мало. Тем, кто был призван насаждать дисциплину и следить за нашей нравственностью, приходилось, прямо скажу, туго. Редкий день обходился без чепе или, как принято говорить в армии, без предпосылки к чепе...

В том гарнизоне жила другая Клава, кажется, Шевченко. Она была вдовой штурмана дальней авиации. Красивая, крупная, глупая и безмерно жалостливая женщина. О ее готовности пригреть любого одинокого мужчину складывали легенды. Сколько было в этих легендах правды, а сколько неблагодарного вымысла, судить не берусь. Помню шумный скандал, вспыхнувший вокруг этой женщины, скандал заметно подпаливший и мои крылышки...

Однажды я вышел от нашего эскадрильного инженера (он жил в одном корпусе с Шевченко) и увидел тощую фигуру у Клавиных дверей. Присмотревшись — в коридоре было темновато, — узнал Леньку Пудцова и не сразу понял, чем он занят. Осторожно, стараясь не скрипнуть мелом, Пудцов выводил на Клавиной двери: «Доступ к телу свободный. От 20.00 до 7.30...»

Что-то тренькнуло во мне, что-то вышло из зацепления.

Я ударил Пудцова наотмашь в ухо и, когда он, то-ненько, противно взвизгнув, отскочил от двери, догнал и еще ударил...

Потом на меня навешали целую свору собак. Обвинили в ревности, в рукоприкладстве, в оголтелом хулиганстве и много еще в чем. Наказали примерно и про-рабатывали черт знает сколько времени, чтобы другим неповадно было. Но, странное дело, ничто тогда не тяготило меня, ничто не портило настроения, разве только Клава — она непременно хотела отблагодарить защитника ее чести...

Теперь я лежал на диване и томился.

Дети у меня не хуже, чем у других, может, даже лучше. Жена — в порядке. Даже странно, что тогда, после Алушты, я предлагал Вере выходить за меня замуж. И ведь я на самом деле готов был разойтись с Клавой... Интересно, что получилось бы, согласись Вера?

Порядка, размеренности в моей жизни, конечно бы, убавилось. Ни цветочков на столе, ни лапши в кастрю-лечке, ни записок на телевизоре — ничего этого не ви-дать.

А что было бы? Восторг общения, радость встреч после недолгих расставаний, ресторанный разгул время от времени, легкость?

Но какой толк об этом думать?

Во всем, что может быть дальше, Вера просто ни при чем.

А что может быть? Наверное, я все-таки отважусь сказать Клаве:

— Суди как хочешь, но с меня хватит. Ты ни в чем не виновата, но и я тоже не виноват. У человека всего одна жизнь. И нам осталось не так уж много. Постарай-ся меня понять...

Клава или тихо заплачет, или не поверит, не пожелает поверить и постарается все обернуть в шутку.

А тогда? Разыгрывать скандал? Бить посуду? Произносить обличительный монолог? Но я этого не умею.

15

Клава вернулась домой, не позвонив. Вошла и сразу спросила:

— Почему ты ничего не ел?

— Не хотелось. Что с матерью?

— Могло быть хуже. Поместили в сорок третью больницу. Сейчас легче. Тина там осталась до вечера.

— А ты чего примчалась?

— Голос твой не понравился. Забеспокоилась. У тебя, Лень, все в порядке?

— Главным образом да.

— А не главным?

— Конец месяца, обычная нервотрепка...

— Ты хотел мне что-нибудь еще сказать?

— Нет.

«Скажу завтра», — подумал я.

Ну а завтра выяснилось, что тридцать первое число миновало, тридцать второго не бывает. А первого числа нового месяца я уже много-много лет подряд начинаю «совсем другую жизнь» и стараюсь изо всех сил не тащить в эту «другую жизнь» ничего из старой...

*Леся — Клаве*

Дура ты, дура, Клавка, и больше никто! Хочешь, обижайся, а хочешь, терпи. Только другого названия тебе нет. Ну, чего разнюнилась? «Не случилось ничего, но может случиться!» Факт, может. Идет человек по улице, а ему сосулька по башке — бац! И нету человека! Так что ж, всю зиму из дому не выходить?

Рассуждаешь больно много, а от слов твоих одна скука. Действовать надо! Особенно в нашем с тобой возрасте. Ясно?



Пройдет еще годика три, ну четыре, и кто ты будешь? Бабушкой Клавой ты будешь! Охота? Ни в жизнь не поверю, что ты об этом мечтаешь. Так вот, мое решительное и последнее тебе «указание» — пользуйся жизнью, ворочай обстановку по-своему, а не распускай нюни. И подумай получше: чего тебе не хватает? Детей отрожала, мужик при тебе: надоел свой — прибери к рукам чужого: средства есть, квартиру имеешь, машину тоже... Ну, чего, чего тебе не хватает?

За приглашение спасибо, только приехать сейчас не могу. Детка моя великовозрастная, Федюнчик мой, требует постоянного надзора. Уеду, он тут такую свалку устроит, что потом не расхлебаться и за год! Лучше ты приезжай! У меня все условия подходящие и для разговоров, если ты без них не можешь, и чтобы раскрутку устроить... А своему скажи, что я сильно заболела и без твоего участия и помощи могу копыта откинуть. Наври похудожественней и приезжай. Жду. Леся.

## 16

Отец мой хорошо зарабатывал. Настоящей нужды семья никогда не знала. По натуре отец не был жадным — легко давал займы и без особого труда прощал должников, когда те не торопились или вовсе забывали возвращать взятые на недельку ссуды. Но поговорить о деньгах, об их особой роли в жизни отдельного индивида и всего человечества в целом любил!

Его теоретические рассуждения о всемогуществе капитала, выгодном и невыгодном помещении средств, процентах простых и процентах сложных всегда казались мне материей совершенно абстрактной и нисколько не увлекали. Но так как эти рассуждения постоянно до меня долетали, то что-то все-таки откладывалось. Помнится, я однажды спросил у мамы:

— А вообще-то деньги — это что?

Мать ответила не задумываясь:

— Деньги — это вещи, которые ты не купил, но можешь купить, и многие удовольствия, которые ты не получил, но можешь получить, если располагаешь нужной тебе суммой...

Объяснение показалось понятным. Так и вырос, сохранив это наивное и, конечно, сильно упрощенное представление о всемогущем денежном эквиваленте.

Став летчиком, а потом летчиком-испытателем, я зарабатывал достаточно, чтобы не задумываться, на что и как тратить свои доходы. Да, собственно, я никогда и не занимался своими семейными финансами. Деньгами распоряжалась Клава. Вероятно, она это делала хорошо, потому что никогда не говорила, что ей чего-то не хватает, у кого-то надо занять...

Не было в нашем доме ни «денежных» разговоров, ни столкновений по этому поводу. И я до крайности удивился, когда случайно услышал, как Клава отчитывает Тину:

— Ты что, рехнулась? Ну, как я могу отцу сказать... Его же кондрат хватит... Он этого не понимает и никогда не поймет.— Как выяснилось, речь шла о какой-то сверхшубе — предмете мечты моей дочки.

Вмешиваться в разговор при Тине я, разумеется, не стал, но потом спросил у Клавы:

— Почему, интересно, ты решила, что я могу упасть в обморок от каких-то расходов? Разве я тебя хоть в чем-нибудь ограничиваю?

— Не ограничиваешь. Но нельзя же позволять Тине замахиваться на такие дорогие вещи. Рано. Это невозможно и не нужно из воспитательных соображений.

— Допустим, и скорее всего ты права,— сказал я,— но для чего же из меня делать пугало и держиморду?

— Ты для детей не пугало и не держиморда, а так, между прочим, отцовский авторитет только укрепляется.

Тогда я не стал спорить. А теперь, вспомнив своего отца и его пространные рассуждения о накоплениях, сбережениях, выгодном помещении средств, почему-то испытал чувство устойчивого раздражения.

«Даже самые высокие воспитательные соображения не должны приходить в противоречие с истиной,— подумал я,— воспитание должно опираться на полнейшую правду».

17

Утром я отлетал. Машина вела себя вполне прилично, никаких ненормальностей не обнаружил ни экипаж, ни самописцы, регистрировавшие каждое дыхание двигателя, каждое отклонение рулей...

Валенчус был доволен.

Самарский сказал:

— Пока все идет нормально.

Пока! Надо было слышать, как он произнес это! И все-таки он не испортил мне настроения.

Быстро написав отчет о полете, я собрался поехать с аэродрома на завод, когда меня позвали в отдел кадров.

Странно, к отделам кадров я испытываю давнюю и устойчивую неприязнь. Хотя у меня нет причин жаловаться на «кадры» — они не мешали мне продвигаться по службе, получать награды, своевременно уходить в отпуск, расти в званиях,— и все-таки приглашение в «кадры» всегда настораживает, идешь и почему-то не ожидаешь ничего хорошего...

— Вот, пожалуйста,— сказала инспекторша, пожилая тучная женщина,— просмотрите эти бумаги и, если там все правильно, распишитесь, если нет, укажите, что неправильно...

Бумаги оказались извлеченными из моего личного дела. Кое-какие старые аттестации, справки о налете за минувшие годы, две-три служебные характеристики...

Присев к свободному столу, я стал листать бумаги: «Летает уверенно, решения на земле и в воздухе принимает технически грамотно. Действует настойчиво...» — странно читать такие слова о себе. Читал и не радовался положительным оценкам моей персоны, а все время думал: «Для чего это вдруг потребовалось воросить?»

Действительно, кто станет так, ни с того ни с сего, копаться в характеристиках десятилетней давности?

Изучив все предъявленные листы, подписав и тем подтвердив, что в бумагах все правильно, я не удержался и спросил:

— А для чего все это вдруг потребовалось?

— Начальство знает.

— Ваше начальство?

Инспекторша воздела очки к потолку и почтительно улыбнулась. Надо было понимать, что речь шла о начальстве весьма высоком.

Отлично сознавая, что вопросы мои не имеют никакого смысла, кадровики любят и умеют напускать тумана даже в самом простом деле, я все-таки сказал противным подхалимским голосом:

— Варвара Степановна, ну пожалейте человека! В чем все-таки дело?..

— Мы люди маленькие, нам не объясняют, а спрашивать не полагается.

С тем я и ушел из отдела кадров. Собственно, ни с чем ушел, мог только констатировать: мною интересует высокое начальство.

Ну и что? Никаких неблагоприятностей я не совершал, упущений по службе за мной не значится... Стоит ли беспокоиться? Не стоит. И все-таки...

Поглядел на часы: ехать на завод не имело смысла — я попадал на обеденный перерыв. Решил предварительно сам пообедать.

В столовой встретил Веру. Без халата, в модном узком свитере, с хорошо уложенными тяжелыми волосами и ярко покрашенным ртом она выглядела очень даже заметно. Поклонился.

— Привет,— сказала Вера.— Когда у тебя кончается медицинская карта?

— Не скоро, весной,— сказал я.— А что?

— Странно. Мне тоже казалось — не скоро. Начмед почему-то запросил твою санитарную книжку...

Мне сделалось не по себе, и, вероятно, я не сумел скрыть этого, потому что Вера тут же добавила:

— Только не выдавай меня. Никому — ни слова.

— Конечно,— сказал я и подумал: «Надо сходить к начмеду». Вся эта возня решительно мне не нравилась.

Оказалось, начмеда я могу повидать только на следующий день: он уехал в министерство и уже не вернется.

Чтобы не думать о предстоящей встрече, я стал вспоминать о вещах, никакого отношения ко мне не имеющих.

В школе, в нашем классе учились два Анисимова — Аверьян и Антон. Они были двоюродные братья. Аверьян знал все — когда родился Петр Первый, сколько метров в Эйфелевой башне, как звали Лавуазье, кем и когда открыта Австралия... И все равно ребята его не любили и ни во что не ставили. Рыхлый, слезливый, без конца жаловавшийся учителям. Аверьян не пользовался ничьей симпатией. Правда, многознайству его удивлялись и, вероятно, поэтому звали «профессором».

Антон учился из «кулька в рогожку», был без памяти от футбола, хорошо рисовал, легко сходился с ребятами и, по всеобщему мнению, был парень что надо.

«Интересно,— подумал я,— что стало с братьями?»

Казалось бы, вопрос совершенно праздный. Минуту уже более тридцати лет, как мы расстались. За эти го-

ды прошла война, совершились тысячи переселений, какие у меня были данные, чтобы напасть на след А. Анисимова и А. Анисимова? Никаких. Да и к чему мне их следы?

Обо всем этом я думал по дороге с аэродрома на завод и с завода домой. И еще дома, пока в конце концов не открыл абонентную книгу и не стал просматривать номера телефонов на букву А.

А. А. Анисимовых значилось два. Телефоны их стояли один под одним. Я набрал первый, дождался, когда отгудели длинные басовитые гудки и высокий женский голос произнес: «Алло», и спросил:

— Простите, это квартира профессора Анисимова?

— О господи! Анисимов Аверьян Александрович не Анисимов Антон Аверьянович. Звоните по телефону...— И женщина назвала мне номер, значившийся в телефонной книге на строку ниже. Я извинился, поблагодарил, но звонить профессору не стал. У меня не было к профессору решительно никакого дела. А на душе сделалось все-таки веселее: правильно, Аверьян, еще в школе знавший все на свете, не должен был, по моим понятиям, стать профессором. И не стал!

## 18

С начмедом разговор получился совсем неожиданный. Я спросил:

— Аркадий Михайлович, скажите откровенно, у вас есть ко мне какие-нибудь претензии?

— У меня? К вам? Лично? Нет, у меня претензий к вам нет.— И замолчал, не поинтересовавшись даже, почему вдруг возник такой вопрос.

Выдавать Веру я, конечно, не собирался и поэтому сделал «ход конем»:

— Но до меня дошли слухи, будто начальство интересуется моим здоровьем, медицинскими показателями...

— Это верно, интересуется. Так на то оно и начальство, чтобы интересоваться подчиненными. Должно. Вы недовольны?

— Ну, как сказать? Расстраиваться вроде нет причин, но и радоваться, согласитесь со мной, Аркадий Михайлович, тоже не приходится.

Начмед помолчал и, не глядя мне в глаза, спросил:

— Скажите, враги у вас есть?

— Враги? Какие враги? Не знаю... как-то никогда не думал об этом... Недоброжелатели, пожалуй, как у каждого человека найдутся. А врагов, вроде не должно быть...

— Подумайте. Мне кажется, кто-то под вас копает.

— Как то есть копает?

— Не знаю. Это не по моей части — кто, где, как?... Но вы все-таки подумайте...

С Аркадием Михайловичем мы знакомы сто лет. Не дружим, не общаемся домами, даже на бильярде я с ним, кажется, ни разу не играл, но все-таки могу утверждать: этого человека я знаю! И уж если начмед опускает голову и начинает едва слышно пофыркивать богатырским носом, можно быть уверенным — разговор окончен. А будете настаивать — нарветесь на резкость. Он вспыльчив. Я не стал ни на чем настаивать и молча вышел из стерильно белого кабинета, поклонившись начмеду и портрету академика Бурденко одновременно...

Интересно, что он знает и на что намекал?

Враги!

Ну, какие у меня могут быть враги? Я летчик, мое дело — летать. И я летаю. Испытываю самолеты. Я обязан быть объективным, беспристрастным и по возможности мудрым, чтобы правильно оценивать технику и

давать разумные рекомендации по устранению тех или иных недостатков... Так?

Вполне вероятно, что какие-то мои заключения кому-то не нравятся. Но... во-первых, каждое или почти каждое мое слово можно проверить совершенно объективными показаниями приборов, самозаписывающей автоматической аппаратурой, беспристрастными кадрами контрольной киноплёнки; во-вторых, все, что я докладываю, возвращаясь на землю, может быть подтверждено или опровергнуто членами экипажа либо в крайнем случае проверено в следующем полете другого экипажа...

И вообще — столько лет мне доверяли, так почему же теперь появиться сомнениям?

А если даже кто-то во мне сомневается, при чем тут враги?

Враг. Какое это все-таки странное слово, и как давно я его не слышал.

Враг был на фронте. И там все выглядело достаточно ясно: он — враг — стремится уничтожить меня, чтобы завоевать нашу землю, похитить богатства народа, бросить нас на колени, мы ведь стояли на его пути к мировому господству...

Все понятно: или — или...

Или враг — нас, или мы — врага...

А теперь? Кому надо ставить меня на колени, что отнимать и для чего?

Странно. Очень странно...

За пятьдесят лет жизни я всего один раз дрался на земле (случай у дверей Клавы не в счет, там я не дрался, а просто бил трусливую сволочь). Было это давно. Так давно, что теперь кажется почти нереальным, будто и не со мной, а с другим мальчишкой случилось.

Мы вышли из школы в морозную мглу раннего вечера. Все торопились по домам и как-то моментально рассеялись по переулку и близлежащим проходным дворам. Я остался один в конце Шведского тупика. И тут заметил: два почти взрослых парня притиснули к стене



дома мальчишку, моего ровесника, и что-то говорят ему. Я шел быстро и не разобрал всех слов: «Давай, гад... не дашь, хуже будет...» Один из взрослых парней грязно выругался... Я почти поравнялся с ребятами, когда до меня долетел глухой, будто во что-то мягкое удар, и тут же раздался отчаянный верещащий тоненький крик:

— Мама, ой-ой-ой!..

Мальчишки я не знал и что происходит, толком не понял. Сообразил только: двое больших отнимают что-то у маленького. Это было не по правилам. Это было не по кодексу чести, который я успел познать за шесть лет в школе.

Драться, или, как мы говорили, стыкаться, полагось, выясняя отношения.

Стыкаться считалось благородным и мужественным. Но непременно один на один, с секундантами.

Бить можно было, утверждая свое превосходство в силе, свою правоту, отстаивая товарища, но уж никак не для того, чтобы отнять у меньшего и более слабого монету, или марку, или какую-нибудь другую вещь...

Мысль сработала быстро и четко: их двое, нас (я успел присоединить себя к незнакомому мальчишке) тоже двое; они сильнее, да и тот незнакомый парнишка, неизвестно еще, станет ли драться или убежит... Не сладить. Во всяком случае, просто так не сладить...

И тут мальчишка заорал еще отчаяннее, еще безнадежнее, чем в первый раз. Господи, какая боль, беспомощность, какая звериная тоска слышались в его крике.

В сугробе у края тротуара я заметил косо воткнутую в снег дворницкую лопату. Не рассуждая, ничего не взвешивая, кинув портфель, я схватился за ручку и со всего маха ударил тяжелой лопатой ближнего ко мне обидчика. При этом я, кажется, закричал: «Полундра!»

Теперь, за давностью времени, можно опустить все подробности и сразу перейти к финалу: мальчишка смылся, лопату у меня вырвали, избили меня основательно.

Но дрался я как бешеный, пока меня не оттащил какой-то случайный взрослый прохожий...

Домой я пришел с колоссальным синяком под глазом и наполовину оторванным воротником, к тому же без портфеля (или забыл, или портфель сперли).

— Этого еще не хватало, — голосом, не обещавшим ничего хорошего, сказал отец. — Докладывай, что произошло и кто тебя изукрасил?

Пришлось рассказать обо всем случившемся.

Признаться, я не ждал утешений от отца. Как минимум, он должен был прочитать мне длиннейшую нотацию и, как дважды два, объяснить, что вмешиваться в чужие дела, не разобравшись, кто прав и кто виноват, глупо. И вот к чему приводят такие глупости. Как максимум, он мог добавить от себя ремня и прокомментировать: это тебе за оторванный воротник, это за пропавший портфель, а это — на будущее, чтобы был умнее.

Но, странное дело, отец долго, очень долго молчал, а потом изрек самым миролюбивым тоном:

— Понял теперь, какая она дорогая, правда? — Помолчал и еще спросил: — А что будешь делать, если завтра они подстерегут тебя после школы?

При одной только мысли, что все может повториться, мне стало очень-очень-очень страшно, но я заставил себя ответить:

— Тогда придется опять драться.

Отец ничего не сказал. Порылся в рабочем ящике, достал оттуда кусок плоского, гладкого свинца и протянул мне:

— На всякий случай положи в варежку. Только осторожно! Попадешься с этим, знаешь, что будет?...

Больше, однако, мне драться не пришлось. И в следующий раз врага я увидел только на войне. Увидел в стеклышке коллематорного прицела, и с тем врагом была совсем другая драка — бой на шваковских пушках двадцатимиллиметрового калибра, бой не на жизнь, а на смерть...

Ну а теперь, теперь-то какой враг мог меня преследовать, за что, с какой целью?..

Так и не ответив на этот вопрос, я установил лишь одно: противник интересуется моими медицинскими документами неспроста... Он — противник — ищет слабое место.

Летчик, долетавший до пятидесяти лет, не может быть абсолютно неуязвим. Пятьдесят — много, а для летчика даже очень много.

В бесконечных записях ежедневных предполетных медицинских осмотров, в голубеньких листочках кардиограмм, в бланках бесчисленных анализов, накопившихся за многие годы обследований, — вот где должны таиться либо мое поражение, либо моя победа. Надо предвзвешивать атаку.

Конечно, выгоднее всего было бы напасть самому, но этой возможности я лишен — противник мой невидим...

Значит, единственное, что мне осталось, приготовить-ся к обороне.

## 19

После работы я зашел к Вере.

— Привет! — сказал я. — У меня просьба: дай до завтрашнего утра мое досье.

— Какое досье? — не поняла Вера.

— Ну, всю эту музыку, где вы пишете давление, куда клеиваете кардиограммы и карточки осмотров...

— Ты что? Я же не имею права.

— Но разве мы всегда делаем то, что имеем право делать, только то, что обязаны? Мне необходимо, понимаешь, необходимо получить эту музыку на одну ночь.

— Но это... меня выгонят с работы, если узнают... будут жуткие неприятности.... на такой риск...

— Отвечаю по пунктам: с работы тебя не выгонят, потому что никто ничего не узнает. По этой же причине

неприятностей у тебя не будет. А что касается риска, то и риска никакого нет: кто станет среди ночи пересчитывать и проверять твои бумажки. Это исключено.

— А для чего тебе, как ты говоришь, эта музыка?

— Не бойся, ни один листок не исчезнет, ни одна запись не пропадет. Мне нужны объективные, количественные показатели: величины давления, удельного веса мочи, гемоглобина крови, лейкоцитов и так далее.

— Но что случилось? Я ничего не понимаю.

— Пока ничего не случилось, но может случиться. И я должен быть готов. Мне надо вооружиться точными, неопровержимыми данными...

— Не могу,— сказала Вера,— не обижайся, но в таком деле я не могу тебе помочь.

Человек не видит свое лицо со стороны, но я видел ее лицо и поэтому могу представить, как выглядел в этот момент сам.

Высокий чистый Верин лоб собрался вдруг в морщинистую, словно вспаханную грядку, напряглись глаза, она подобралась, будто хотела и не могла сорваться с места, чтобы бежать из кабинета.

— Ты что, ты что? — суетливо произносятся слова, изменившимся, натянутым голосом заговорила Вера.— У тебя вид... или убить хочешь... с ума сошел?

— Зачем убивать? Мы же не враги? У нас даже любовь была. Мне нужны цифры, и я без них не уйду.

— Во имя того, что было... Я тебя прошу...

— Вера, не надо... Что было, то прошло. Дай досье, завтра в шесть ноль-ноль оно будет на месте.

Она колебалась, я это видел, но подошла к шкафу, достала толстую синюю папку и протянула мне.

Сначала я вывел среднегодовые показатели частоты ударов пульса, верхнего и нижнего уровня давления крови, содержания гемоглобина, лейкоцитов и прочие параметры.

Эта арифметика заняла довольно много времени.

Потом я достал рулон миллиметровки, выбрал подходящий масштаб и стал наносить вычисленные точки.

Ну, что ж! Неплохо, совсем даже неплохо я выглядел в этих графиках! Например, кривая пульса за последние тридцать лет смотрелась почти идеальной прямой линией и не выходила из пределов 74—78 ударов в минуту. Давление с годами несколько возросло, но и тут все выглядело вполне пристойно, во всяком случае, верхний предел нигде не перешагивал за 140 миллиметров ртутного столба...

Теперь я знал, что в нужный момент смогу произнести примерно следующую речь:

— Уважаемые товарищи! Я понимаю — человеческий организм не может быть приравнен к машине, во всяком случае, не может быть полностью идентифицирован, например, даже с самым сложным двигателем внутреннего сгорания. И все-таки. позвольте мне утверждать, что долголетние устойчивые показатели, измеренные достаточно точными приборами, могут дать некоторое объективное представление об износе этого организма. — Тут надо будет сделать паузу, развернуть рулон с графиком и продолжить: — Обратите внимание на первую кривую, характеризующую состояние пульса. Практически все тридцать лет сердце работает на постоянных оборотах, что, вероятно, должно свидетельствовать об устойчивости главного органа. Взгляните на кривую изменения кровяного давления — она также достаточно постоянна и не подвержена сколько-нибудь существенным изменениям. Я не буду утомлять вас чтением всех кривых. Вы видите кривые без заметных взлетов и падений. Полагаю, это дает право заявить: практически я здоров сегодня так же, как был здоров в начале своей летной работы. Если же к этому прибавить накопленный опыт, то могут ли быть веские причины к ограничению или отстранению меня от полетов? Я представил вам факты, только факты и прошу взглянуть этим фактам в лицо.

Мне очень нравились графики, и будущая моя речь представлялась вполне убедительной.

И все-таки... я не ощущал полного спокойствия, полной уверенности... И предупреждение начмеда не вышло из головы.

*Клава — Лесе.*

Леся, Леся, миленькая моя! Все-таки я решилась, и пошла, и меня приняли, и выслушали, и кажется мне, что поняли. Ты не удивляйся такому бестолковому началу, сейчас я тебе все расскажу по порядку.

Значит, я решила: так продолжаться дольше не может. Ты права — надо действовать, надо атаковать или там наступать, уж не знаю, как точнее выразиться. И я позвонила заместителю министра по телефону, назвалась и попросила принять меня «по сугубо личному вопросу». Пришла в назначенное время. Меня сразу провели в кабинет. Замминистра оказался мужчиной пожилым, внимательным (встал, когда я появилась в кабинете) и сказал как-то по-домашнему:

— Я вас слушаю, Клавдия Андреевна...

Ну, я все рассказала. Сколько лет может один человек искушать судьбу? Каждый день испытывает самолеты, летает на всем, летает безотказно. Но ведь годы идут. Никуда не денешься. Разве он может летать вечно? И неужели он еще не отработал за столько лет «норму»? Ну, и все такое.

Замминистра слушал, слушал, не перебивая, потом спросил:

— Скажите, Клавдия Андреевна, вы этот разговор со мной ведете с ведома мужа, с его согласия или...

— Конечно, он ничего не знает,— сказала я,— все, что я говорю вам,— это по совершеннейшему секрету. Лично, от себя говорю!

— Понятно,— сказал замминистра,— понятно. Ну что ж, в ваших словах есть доля истины. Большая доля исти-

ны. Но знаете, какая штука, если все это передать вашему мужу — не разговор, конечно, а ваши доводы, так сказать, систему ваших доказательств, он ведь страшно возмутится. Знаете, что он скажет? «Конечно, здоровья у меня, может быть, и меньше, чем было двадцать лет назад, но учтите опыт. Опыт тоже ведь чего-нибудь стоит...» И будет прав. Хотя ни один пожилой летчик не в состоянии быть до конца самокритичным, хотя ни один не согласится по доброй воле, что время его на исходе или просто кончилось...

И тут я, кажется, ляпнула лишнее. Я сказала:

— Так что же вы хотите, чтобы он тоже обязательно убили?

— Ну что вы, Клавдия Андреевна, как так можно? Разве потери только семейное горе? Неужели вы считаете нас такими варварами? Я вот, видите, от этих самых потерь седым стал раньше времени. А вы говорите...

Я начала извиняться, дескать, он меня не так понял. Но он вроде и не обиделся, а согласился со мной, что надо как-то решить вопрос.

— Только ведь мужа вашего не так просто снять с летной работы. Надо основания найти. Снять приказом — значит лишить доверия. Этого он никак не заслуживает. Вот если медицина скажет свое слово или для начала ограничит. Как он последнюю комиссию прошел?

Я сказала, что нормально. Приехал из госпиталя веселый и даже говорил, вроде у него никаких отклонений не обнаружили — хоть в космонавты...

— В космонавты?! Ну, это сомнительно, чтобы в пятьдесят с хвостиком совсем никаких отклонений не было. Отклонения обязательно бывают. Другое дело, как на эти отклонения смотреть. Можно сквозь пальцы, а можно и попристальнее.

Словом, все кончилось тем, что замминистра пообещал мне подумать, взвесить все «за» и «против» и при-

нять честное, объективное решение. Ну, я его поблагодарила и попросила, чтобы разговор этот остался между нами. Он обещал. Вот такие дела, Лесик.

Не знаю, как и что будет теперь, но на душе у меня вроде посветлело маленько: во всяком случае, что могла, сделала...

Надеюсь, на этот раз ты не станешь упрекать меня за то, что распускаю нюни и только говорю, вместо того чтобы действовать?

Мне очень жаль, что ты не можешь приехать к нам. Сама я к тебе никак сейчас не выберусь. Мне надо быть тут, на месте, и дожидаться, чем все кончится. Я ведь понимаю, что, если отстранение состоится в ближайшее время, ему будет нелегко, и мой долг — находиться рядом.

Обнимаю тебя. Клава.

## 20

В день, когда я вернул синюю папку Вере, я получил странное письмо от неизвестной женщины. Некто, Тамара Клементьевна Швецова, писала, что после долгих поисков нашла мой адрес и теперь имеет сообщить следующее: «Я была близкой подругой Фаины Сергеевны Георгиевой, которая в годы войны находилась в эвакуации в Ташкенте, где и познакомилась с вашей матушкой. Они жили в одной комнате. Перед отъездом из Ташкента ваша матушка оставила на сохранение Фаине Сергеевне кое-какие вещи и некоторые документы, которые Фаина Сергеевна должна была вернуть ей впоследствии. Но судьба распорядилась иначе — больше Фаина Сергеевна с вашей матушкой не встретились. Вещи с годами утратились, а документы остались у нее.

Весной прошлого года Фаина Сергеевна умерла. Так как у нее к этому времени не осталось никого из родных, то согласно ее воле я была признана единственной на-



следницей, и сохранившиеся документы вашей, к сожалению тоже покойной, как я установила, матери, находятся теперь у меня. Полагаю своим долгом передать их вам».

Дальше Тамара Клементьевна сообщала свой адрес, почему-то извинялась за отсутствие телефона и указывала время, когда всего вернее можно застать ее дома.

Странно, письмо этой незнакомой женщины взволновало меня гораздо больше, чем я мог ожидать.

Нет, не документы на меня подействовали — какие особенные документы могли там быть, само упоминание о маме, со смертью которой я уже как-то смирился.

Я собрался тут же ехать, но позвонили с аэродрома. Надо было подменить Ключаренко и слетать на завод за опытным двигателем. Опытный двигатель я ждал уже больше недели и, конечно, сразу же поехал на аэродром....

Транспортный корабль шел на автопилоте. Штурман следил за курсом, эшелонем и временем, бортинженер — за показателями приборов, контролирующих двигатели и самолетные системы, второй пилот держал связь с землей... Словом, на какое-то время я был свободен. Люблю это состояние, когда ты готов мгновенно включиться в пилотирование кораблем, принять при необходимости нужное решение, подчинить себе людей и обстановку и в то же время еще не задействовать и пока можешь думать о чем угодно.

Мне вспомнился наш тесный, вырубленный в тайге фронтальной аэродром. Взлетная полоса была выложена из деревянных брусьев, и новичков непременно предупреждали:

— Будешь садиться, рот держи закрытым. И плотно! Пренебрежешь, язык откусить ничего не стоит...

Была осень, туманы почти не расходились, и летали мы мало. В один из таких бесконечно нудных дней я сидел в штабной землянке и рисовал какой-то график. Вообще-то графики были в ведении адъютанта эскадрильи, но его накануне прихватил приступ аппендицита, и комэска велел заняться бумагами мне.

Дверь штабной землянки поминутно грохала, кто-то входил, кто-то выходил. Притерпевшись к гроханью, я не обращал внимания на происходившее за спиной. От графика оторвал меня незнакомый голос:

— Товарищ гвардии майор, разрешите доложить? Старший лейтенант Пилевин, закончив курс лечения в госпитале, прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы.

«Новый летчик», — подумал я и обернулся, чтобы взглянуть на него.

Он стоял перед командиром полка, высокий, худой, в застиранной гимнастерке. В левой руке штурманский планшет и противогазная сумка.

Командир полка поздоровался с новичком и сразу спросил:

— Воевали?

— Так точно. Сначала под Москвой, потом — на Первом Украинском.

— Налет большой?

— Тысяча семьсот часов.

— Ого!

— До войны инструктором работал, — как бы извиняясь, сказал старший лейтенант, — поднабрал.

— На Ла-5 летали?

— Так точно, летал.

— Боевых вылетов сколько?

— Сто семьдесят девять, товарищ гвардии майор.

— Хорошо. А как успехи?

— Да вроде нормальные успехи. Двадцать один лично и шесть в группе.

— А что же при таких успехах награждены не густо

и в званиях не больно высоко забрались? — добродушно спросил командир.

— Не могу знать. Чины и награды — в руках начальства...

— А ты с характером, орелик, с норовом, видать! Ну, бери личные вещи и ступай в первую эскадрилью к капитану Пахомову. Потом поговорим подробнее.

— Слушаюсь,— козырнул старший лейтенант и направился к двери.

— А вещи твои где? — спросил командир полка.

Старший лейтенант встряхнул противогазную сумку и ответил с вызовом:

— Личное имущество — вот, я воевать приехал.

— Ступай! — повторил командир полка, и я сразу понял, Пилевина наш весьма хозяйственный, основательный майор невзлюбил, и невзлюбил надолго...

Потом мне пришлось летать у Пилевина ведомым. Мы не сразу сошлись. У Сашки был нелегкий характер. На первых порах он просто огорошил меня. Ну что стоило его заявление, сделанное при первом знакомстве:

— Главное мне — увидеть. Если увидел, он меня уже не собьет. Понял?

— Ты уверен, что пилотируешь лучше всех немцев? — спросил я.

— Не знаю, лучше ли всех, но что много лучше абсолютного большинства, уверен. Со мной не пропадешь, малый!

— Ну, ты силен...

— Силен. На самом деле силен. Не сомневайся...

Мы близко сошлись с Сашкой на фронте и долгие годы не расставались после войны. Собственно, и на испытательную работу вытащил меня он. Жаль, что сейчас Сашки нет рядом. Вот бы с кем посоветоваться. Он из тех людей, которые всегда знают, что и как надо делать.

Тут второй пилот доложил, что мы вошли в зону снижения. Связь есть. Подход разрешен.

— Давай,— сказал я,— действуй,— и сразу вернулся к исполнению своих прямых обязанностей, обязанностей командира транспортного корабля.

К Тамаре Клементьевне Швецовой, как ни старался, я попал только через неделю. Встреча все откладывалась по так называемым независящим от меня обстоятельствам: то Валенчус требовал аэродромных бдений в ожидании погоды, то Самарский настаивал на дополнительном полете... Словом, и дело не делалось, и свободного времени не выкроить...

Наконец я приехал по указанному адресу. Меня встретила пожилая женщина с удивительно сохранившейся фигурой. Кстати, и одета Швецова была явно не по возрасту: шерстяные трикотажные брюки в обтяжку, синие с белыми лампасами, тренировочная спартовская рубашка.

Тамара Клементьевна жила в однокомнатной квартире, главное убранство которой составлял темный полированный шкаф, изначально предназначавшийся скорее всего для книг, но сплошь уставленный хрустальными вазами, кубками, металлическими стаканами, фигурками большей и меньшей ценности. Как я сообразил, то были спортивные трофеи хозяйки дома.

Мы познакомились. Тамара Клементьевна протянула мне пакет, обернутый в прозрачную полиэтиленовую пленку и аккуратно перевязанный суровой ниткой. Я поблагодарил и хотел откланяться.

— Не разыгрывайте, пожалуйста, железобетонное мужество и неггибаемую выдержку,— сказала Швецова,— терпеть не могу. Садитесь к столу, посмотрите бумаги... Ведь хочется вам знать, что там? Я мешать не стану. Уйду на кухню и накрою стол к чаю. Разберетесь в бумагах, попьем чайку и тогда расстанемся. Надо до-

рожить общением! — С этим она вышла из комнаты, не дожидаясь ни моего согласия, ни отказа.

Я развернул пакет и первое, что увидел, — свою детскую фотографию. Худой, этакий гадкий утенок в матроске. Перевернул. На обороте рукой матери было написано: «5 лет».

Под фотографией лежало письмо отца. Судя по штемпелю, письмо было отправлено из Таганрога восьмого августа тысяча девятьсот двадцать седьмого года. Подумал: «Вот не знал, что отец бывал в Таганроге. Что он мог там делать?» Та-ган-рог? «Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге». Впрочем, эти строчки никакого отношения к моему отцу не имели.

Письмо я не стал читать. В пакете оказались еще несколько фотографий. Неведомые мне люди, очевидно, какие-то родственники, смотрели на меня пристально, с затаенным, как мне показалось, осуждением. Вероятно, они хотели, чтобы я узнал их. Но тут уж, извините, я ничего не мог поделать — родственники не взволновали меня. Родственных чувств я просто не понимаю. И в этом отношении как две капли воды похож на моего дядю, того, что всю жизнь враждовал с моим отцом.

Еще в пакете лежали ломбардные квитанции тридцатилетней давности и сберегательная книжка.

Сберкнижка оказалась на мое имя, первый и единственный вклад — 200 рублей — был сделан 20 июня 1928 года.

Эта старая сберегательная книжка напомнила, как мы шли с отцом по разогретой июньским зноем улице, как сначала он заставил меня заполнить какой-то листочек, потом велел расписаться. Я нацарапал свою фамилию, протянул длинный хвост от последней буквы и пририсовал к хвосту рыбку...

Последнее, что я обнаружил в пакете, прямоугольничек белой клеенки, сантиметра два на четыре с коряво выведенным химическим карандашом номером. Слева и справа от номера в клеенке были сделаны неболь-

шие прорези. Я не сразу сообразил, что это за штуковина. Но потом вспомнил: когда Клава принесла из родительного дома Тину, у нее к ручке был привязан такой лоскуток.

Потом мы с Тamarой Клементьевной пили крепкий, заваренный прямо в стаканах чай и говорили о чем-то незначительном, как обычно говорят малознакомые люди, вынужденные поддерживать разговор.

Неожиданно Швецова спросила:

— А у вас что — неприятности?

— Вы умеете отгадывать мысли на расстоянии? — спросил я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал пусть иронично, но возможно мягче.

— Умею. Если учесть, что в последние двадцать лет я работаю тренером по академической гребле и лыжам, то мне день-деньской приходится возиться с молодыми ребятами — поневоле научишься.

— И это интересно?

— Не поняла: возиться с молодежью или читать чужие мысли?

— Читать мысли?

Тамара Клементьевна ответила не сразу, долго рассматривала чайники в стакане, поиграла ложечкой и наконец сказала:

— По-разному. Иногда интересно, а случается, и страшно... Но быть одинокой старой женщиной и целыми днями копаться в собственных мыслях наверняка куда хуже.

Слушаю Тамару Клементьевну, а мне почему-то представляется лыжня в березовой роще, иней на ветках, просвечивающаяся даль, редкие праздничные кусты, в замерзших, словно алмазы, каплях... Когда-то я бегал на лыжах. Знаю, как это бывает: тяжелое дыхание зажимает грудь и накатывает тоскливое чувство отчаяния, ничего не надо — завалиться на снег, не думать, не жить — только бы вдохнуть как следует, до конца, во все легкие, всего бы раз... и как раз, когда уже не

ждешь, сухой спазм, сжимающий глотку, вдруг отступает, будто разрывается что-то внутри тебя, и приходит второе дыхание — легкое и радостное: беги, преодолевай подъем за подъемом, нет ни усталости, ни отчаяния...

Должно быть, я задумался и пропустил какие-то слова Тамары Клементьевны, потому что те, которые услышал, были явно не началом фразы:

— ...только я все-таки права, у вас неприятности.

— Немного есть.

— Не хотите — не рассказывайте. У меня нет никакого права требовать откровенности. Просто я подумала: может, человеку поделиться нужно. Как, знаете, говорят — излить душу. А я мастер слушать. Привыкла.

— Спасибо, Тамара Клементьевна, за участие, только я вот, увы, не мастер на душевные разговоры. Недавно один человек намекнул: жди неприятностей, вроде бы, значит, враг под меня подкапывается. Вот я и думаю: какие могут быть у меня враги, откуда? Не война ведь...

— Милый человек, святая наивность! Разве враги только на фронте бывают?! С ума можно сойти от вашего добродушия. А глупость человеческая вам не враждебна? А зависть? А корысть? А обыкновенная подлость? Помните, как в том анекдоте тип один рассуждает: «У соседа коза сдохла. Разобраться: ну какое мне дело, а все-таки приятно». Вы врагов не с обрезом, не с автоматом, не с ножом за пазухой ищите, к окружению своему построже приглядитесь. Где черствое человеческое сердце, где жадность притаилась, где ограниченность празднует... Вот там — пошарьте.

— Простите, Тамара Клементьевна, а вы давно выступать перестали? — спросил я. Спросил отчасти из простого любопытства, а вернее, чтобы уйти от неприятного поворота разговора.

— Ну, как вам сказать? Раньше, во всяком случае, чем мне дали понять — пора! Ушла в лавровом венке,

рекордсменкой страны под причитания спортивных репортеров: «Снежная королева покидает лыжню». Словом, ушла, пока не ушли.

— Кажется, я огорчил вас, извините.

— Нет, что вы! Теперь я человек без будущего, и в этом качестве никакие огорчения меня не достигают. Я сама себя огорчила, но не теперь — тогда. Дрогнула, дура, добровольно уступила лыжню. Полагала, благородство демонстрирую, трезвость ума, самокритичность... а все — обман. Можешь бежать — беги! Не можешь — все равно шевели ногами. Пусть тебя добивает тот, кто сильнее. Славы это, конечно, не прибавит, но чувство собственного достоинства увеличит! И пусть говорят: звездная болезнь заела, молодежь зажимает, ответственность утратила. Плевать! Болтают большей частью те, кто только и умеет, что языком ала-ла разводить...

Тамара Клементьевна даже порозовела, и лицо ее преобразилось. Ни тени мудрости не осталось, только — азарт!

— Завидовать плохо, знаю, но одному человеку завидую. Урхо Тойтоваалу завидую — умер человек на лыжне...

Расстались мы поздно. Я ехал домой по мокрому шоссе, было очень скользко, и на поворотах машину сильно заносило. Где-то, уже на подъезде к авиагородку, фары высветили одиночную сосну. Подумал: «А если на скорости с поворота и тормознуть, занесет, выбросит и приложит... Потом будут говорить: «Какой нелепый случай! Столько лет пролетал, а тут...»

Я даже тихонько съехал на обочину, остановился и посидел несколько минут не шевелясь, следя за дыханием.

Потом зажег cabinный свет, приподнялся на сиденье и заглянул в зеркальце заднего обзора. Какая противная рожа смотрела на меня: во-первых, старая, во-вторых, испуганная и, в-третьих, до крайности фальшивая.



Меня вызвал Валенчус. Велел сесть, выдержал паузу и сказал:

— Вот тут из управления бумажка пришла: предлагают направить тебя на обследование в госпиталь. Как я понимаю, на досрочную врачебно-летную комиссию. Что случилось? Ты кому-нибудь жаловался?

— У меня такое впечатление, что кто-то на меня жалуеться,— сказал я и про себя добавил: «Только спокойно. Следи за словами».

— Так. Значит, ты считаешь, что никакого досрочного обследования не нужно, летать можешь и хочешь?

— Вот именно: и могу и хочу.

— Понял. Иди и работай. И ни о чем постороннем не думай. Я разберусь.

В этот день я сделал шесть вылетов — резину морозил, и думать о разговоре с Валенчусом мне было некогда. А чтобы не думать и после полетов, я решил заехать в сберегательную кассу и узнать, сохранился ли тот счет, ну, счет тысяча девятьсот двадцать восьмого года, открытый когда-то отцом на мое имя. Видит бог, я не мечтал разбогатеть, просто мне было интересно, сколько же там могло набежать.

Сберегательная касса, насколько мне помнилось, располагалась поблизости от нашего старого, довоенного дома. Сберкасса сохранилась, отыскать ее не составляло труда. Народу в кассе почти не было, и я сразу же подошел к окошечку с надписью «Контролер». Улыбнувшись молоденькой девчонке, сидевшей за окошечком, сказал:

— Вот, посмотрите, пожалуйста, эта книжка еще действует?

Девушка поглядела на книжку, на меня, снова на книжку и сказала:

— Сроду такого старья не видала! Надо же — до моего рождения выписана! — И, спохватившись, попра-

вилась: — Посидите, я заведующей покажу. Первый случай...

Минут через пять появилась заведующая. Строгого обличья женщина с плотно сжатыми узкими губами, с недоверчивым взглядом плохо различимых за очками глаз спросила:

— Это ваш счет?

— Мой,— сказал я.

— Для того чтобы установить, сохранился ли он, надо затратить некоторое время. Вы не согласились бы оставить книжку до среды и заехать еще раз?

— Раз надо, пожалуйста.

— Спасибо. Приезжайте в среду.

— Слушаюсь,— сказал я.— А вы не можете сказать, какая там приблизительно должна быть сумма?

— Это надо высчитать. Во-первых, за эти годы трижды менялись нормы начисления процентов, во-вторых, проценты набегали на проценты, в-третьих, прошла послевоенная девальвация и потом еще менялся масштаб цен... Словом, так, на глазок, сказать невозможно, надо внимательно просчитать.

Поблагодарив заведующую, я поехал домой. А в голове торкалось внезапно прозвучавшее слово «девальвация».

Когда после войны заменили деньги и в один день старая сотня превратилась в новую десятку, я был в командировке. Мне еле-еле хватило шестисот семидесяти старых рублей, чтобы купить билет в общем вагоне и голодным доехать до дому.

Как мне сказала тогда кассирша на железнодорожном вокзале:

— У всех нынче финзатруд. Были-были денежки — и нету.

А я в это время рылся по карманам, наскребывая последние три рубля, превратившиеся в тридцать копеек...

Самарский перехватил меня в коридоре.

— Слушай, это тебя касается. Захожу вчера к Валенчусу, а он с кем-то из министерства разговаривает. Я так понимаю, ругается. И как будто бы из-за тебя... За точность не ручаюсь, но, насколько я сумел установить, они,— Самарский ткнул пальцем вверх,— хотят тебя прижучить, а Валенчус — сопротивляется... Чего ж ты молчишь?

— А что я должен говорить?

— Не знаю, что именно ты должен говорить, но как-то надо на такую информацию реагировать?!

— У меня с детства пониженная эмоциональность. И потом я не люблю новостей, подслушанных под чужими дверьми...

— Это ты зря! Я в кабинете был и просто случайно услышал! Понятно?

— Не очень понятно. Но к сведению принимаю. Вы чего ждете? Благодарности? Благодарности не будет.

— Странный ты все-таки человек,— сказал Самарский,— к тебе всей душой, с полной откровенностью, а ты...— Дальше я слушать не стал, мне было пора на вылет.

*Леся — Клаве*

Здравствуй, Клава. Даже и не знаю, что ответить на твое последнее письмо. По-моему, ты просто не понимаешь, чего натворила. Это ж надо было додуматься — пойти к начальству!.. Ну а если когда-нибудь от кого-нибудь случайно он узнает, что ты сама пошла и заложила его, предала... неужели ты думаешь, он простит такое?.. Нет, может, я чего-то не так понимаю — ты умнее меня и училась больше, и вообще — только за такое убить и то мало. Скажу откровенно: будь я на его месте и узнай, что моя законная жена, подруга жизни и

боевой спутник, такой номер отколола и мне по ее милости больше не летать, честное слово даю, я б тебя собственными руками придушила. И пусть потом сидеть хоть до конца жизни!..

Но я не он. И подруга моя — ты. Поэтому запомни: молчи! Никому ни слова. Если до него что-нибудь дойдет, отказывайся. Клянись чем хочешь, хоть жизнью детей, хоть своей жизнью, что нигде не была, никому слова не говорила и вообще ничего не знаешь. И уж если на этот раз ты меня не слушаешь, так и знай — конец тебе! Во всяком случае, конец твоей хорошей жизни.

Письмо прочтешь и сразу же изорви.

Ох, Клавка-Клавка, жалко мне тебя. Сразу, как что прояснится, напиши. Если надо будет, брошу все и Федюшку, своего красавчика придурошного, и приеду. Леся.

Вечером неожиданно приехал Коля Анов. Мы не виделись с похорон Пахомова, и, признаться, Коли в этот день я вовсе не ждал.

Странно — раньше мы очень дружили, были, что называется, не-разлей-вода, а потом с годами, особенно после того, как Коля сошел с летной работы, как-то разошлись и встречались все реже и реже. Мы не ссорились, между нами не пробегала никакая кошка, видно, ослабло магнитное поле, уменьшилось притяжение...

Коля приехал с коньяком для меня, с конфетами для Клавы и плюшевым медведем для Тины (ему казалось, что Тина все еще девчушка с косичками). Коля вошел шумно, как входил только он, хлопал меня по спине и плечам, облобызал Клаву. Он был, видать, в наилучшем расположении духа и сразу ударился в воспоминания.

— Слушай, а это все-таки неправильно, точно говорю, неправильно, что мы, однополчане, старые фронто-

вики, почти никогда не видимся. Или плохие ребята у нас в полку были? Нет, я серьезно, почему в других частях традиция — и праздники полковые справляют, и встречи организуют, и вообще? А мы, как разлетелись после войны, так все — привет, Вася, и никаких контактов!..

— Ты хочешь создать организационный комитет ветеранов? — спросил я.

— Вот ты сразу в иронию, но почему? А? Почему? Недавно в журнале «Авиация и космонавтика» я фотографию Вали Бойко видел. Помнишь Вальку? Генерал-лейтенант авиации. Заслуженный летчик! Неужели тебе не интересно с ним повидаться?

— Интересно, — сказал я. — Он училищем командует. Кстати, тем самым, что я когда-то закончил. Месяца два назад я летал к нему на теоретическую конференцию. Валя — мужик что надо! Сто кило с хвостиком, а еще летает. Правда, в кабину трудновато ему затискиваться, но уж как залезет, так дает!..

Странно, Анова мои слова огорчили.

— Любопытно получается, — сказал он, — ты, значит, Вальку видел, а я не в курсе?..

— Чего ж тут такого, Коля? Ну, пришлось мне в его училище слетать, по делам службы ведь...

— Вот-вот, по делам службы! Про то и речь — у тебя и дела и служба...

В это время Клава позвала к столу. Разговор перескочил на новую волну, и больше ни к фронтовым воспоминаниям, ни к товарищам минувших лет не возвращался.

После третьей или четвертой рюмки Коля спросил:

— Слушай, а почему ты, пижон, только чокаешься, а не пьешь?

— Завтра с утра полеты, — сказал я.

— Полеты? Ясно... И не надоело еще?

— Пока нет.

Тут в разговор вмешалась Клава. И решительно отвела Колю от затронутой темы. Пожалуй, даже слишком решительно, тем более что он и не сопротивлялся. Неожиданно Коля спросил:

— Слушайте, а что у вас тут за докторша, вдова Вера Степановна проживает? А?

Клава подозрительно поглядела на Колю и сразу отвела глаза. «Интересно, что Клава может знать? Что-то знает»,— подумал я и заторопился ответить Анову:

— Ничего докторша, даже очень ничего — и собой хороша, и умишком не обижена, и в медицине толк знает...

— И очень мужиков уважает,— сказала Клава.

— Всех подряд? — без улыбки спросил Коля.

— Не всех,— почему-то разозлившись, сказал я,— только выдающихся: во-первых, с высокими моральными качествами, во-вторых, с размахом...

— А тебе это откуда известно? — поинтересовалась Клава.— Говоришь как отвергнутый соискатель.

«Вот черт!—подумал я.— Один — ноль в ее пользу»,— и теперь уже сам постарался перевести разговор на другую тему...

Коля просидел у нас долго. Ушел пьяненький, умиротворенный и уже в дверях сообщил:

— Решено! Атакую и преследую...

— Чего-чего? — не поняла Клава.

— Не чего, а кого! Веру Степановну. Она — одна, и я — один... А? Не советуете или благословляете?

— Не сердись, Коля,— сказала Клава,— но я к тебе слишком хорошо отношусь, чтобы благословлять, я бы на твоём месте сначала хорошенько подумала.

— А ты? — спросил Коля, глядя мне в глаза.

— Подумай,— сказал я,— думать никогда не вредно. Только не слишком сосредоточивайся... Тут... импульс нужен...

Ночью мне снился Крым. Сероватые, в мягкой дымке горы. Беспокойное теплое море. Я отчетливо слышал хруст гальки под ногами, и ноздри щекотал дразнящий запах, свойственный только крымской земле.

Из моря выходила Вера. Загоревшая, длинноногая, в капельках воды, сиявших, словно бриллиантики. Та далекая, молодая Вера, какой я ее видел давно, но, оказывается, не забыл до сих пор.

Из Крыма меня прогнал будильник, тренькнувший без четверти шесть. На аэродром я уехал, когда только светлело. Клава еще спала.

День прошел без потрясений и неожиданностей — обычный будний день.

По дороге домой я завернул в сберкаассу.

Заведующая встретила меня как старого знакомого.

— Вот, пожалуйста, расчет,— сказала она и протянула аккуратно исписанный цифрами листок.

«До 1 июля 1936 года из 8% в год»,— дальше шла колонка цифр, и в конце был выведен итог — 371 рубль 21 копейка.

«С 1 июля 1936 года из 3%» — и новая колонка заканчивалась новым итогом — 641 рубль 14 копеек... И еще колонка, и окончательная сумма — 96 рублей 02 копейки.

— Это вам столько считать пришлось?... Спасибо,— сказал я.

— Не за что. Считать — моя обязанность. Вот видите, капитал ваш почти упятирился,— сказала заведующая сберкаассой и впервые улыбнулась мне.

В полукруглом окошечке я получил девяносто шесть рублей две копейки и вышел из сберегательной кассы, держа деньги в руке.

Странные это были деньги. Не заработанные, не выигранные — из ничего... Я посмотрел на мятые бумажки еще раз и вспомнил.

Отец смотрит на меня вопросительно и терпеливо, а

я, давясь словами, прошу его финансировать какое-то, не помню уже в точности, приобретение: то ли коньки, то ли лыжные крепления ротафеллы (тогда жесткое крепление было большой редкостью и стоило сравнительно дорого). Путаясь, объясняю, почему мне нужно купить именно такое крепление или именно такие санки, стараюсь быть убедительным, произношу массу лишних, суетливых слов и никак не могу выговорить главного — назвать нужную сумму. А он не спрашивает, и я все говорю, говорю... и мне стыдно... и я себя презираю и не могу остановиться...

— Так сколько? — не выдерживает отец.

— Рублей двадцать,— говорю я, задохнувшись презрением к себе.

— Рублей двадцать или двадцать рублей? — требует точности отец.

И так как я молчу, нервно глотая слюну, готовый вот-вот разреветься, он очень обстоятельно и неторопливо принимается объяснять мне, что деньги любят счет, что человек должен точно знать, сколько и на что ему нужно, должен планировать свои возможности и трезво оценивать свои потребности...

Деньги в конце концов он дает, дает столько, сколько я прошу, или даже немного больше, но радости от этого я не испытываю и долго не решаюсь истратить эти десятки...

Я снова смотрю на только что врученные мне девяносто шесть рублей две копейки, и в голову приходит: а ведь они — от т у д а.

Упятеренный капитал...

И что?

Ничего. Просто грустно.

В палисаднике перед домом меня встречает Алеша.

— Ты откуда? — спрашивает он.



— С работы,— говорю я.— Хотя не совсем с работы, заезжал еще в сберкасса...

— Интересно...

— Что именно? — не понимаю я.

— Так, вообще,— говорит Алеша,— почему-то я никогда не думал, что ты бываешь в сберкассе, касаешься таких будничных материй, как счета за квартиру или телефон...

— Ты что, Алеша, спятил?

— Я? А разве похоже?..

И тут я замечаю, что Алеша не смотрит мне в глаза и держится как-то необычно. Пожалуй, и встретились мы не случайно, похоже, что Алеша ждал меня около дома. «Что он думает обо мне? Как думает? Неужели ему так же трудно разговаривать со мной, как мне бывало трудно обращаться к моему отцу?»

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Да вроде ничего...

— У тебя все или есть еще что-нибудь? — спрашиваю я и чувствую: не так надо бы спросить, но слова уже произнесены.

— Тут такая штука... Ты не одобришь, я знаю... Но само собой вышло... Я пришел, а на столе письмо... Распечатанное... Ну, я не знал кому, поглядел. А там написано: «...молчи! никому ни слова. Если до него дойдет, отказывайся...» Тогда я посмотрел на подпись — тетя Леся. Понимаешь?

— Не очень пока понимаю, Алеша, но кое-что, кажется, схватываю...

— Врать не буду, я письмо прочел, не положено так, но я прочел... И что получается, батя... Мать сама пошла...

— Не надо, Алеша, дальше не рассказывай, догадываюсь теперь, что было и как тоже, а подробности знания не имеют...

— Ладно, молчу, но что мне-то делать?

— Ничего, Алеша, делать не надо. Как было, так и будет. Мать лучше хотела — и мне, и себе, и вам... Ты молчи, Алеша, молчи, и я буду молчать.

— Хорошо, — сказал Алеша, — если ты так считаешь, я, конечно, ничего не скажу, хотя и не понимаю... Просто не могу понять.

— Правильно. Чтобы это понять, надо еще пожить и помучиться хорошенько...

Тут я почему-то вытащил из кармана деньги, те самые — упертеренный капитал, сунул их растерявшемуся Алешке и сказал:

— Держи и ничего не думай. Это упертеренный капитал! Развернутый комментарий будет выдан потом. А пока: жизнь продолжается, Алеша, все остальное — чешуя.

## 25

Теперь чуть-чуть прибрать обороты двигателя, так... Проверить скорость.

Шасси на подъем.

Хорошо. Передняя и правая стойки встали на замки... и левая тоже.

Машина сделалась будто легче, так и норовит задрать нос. Спокойненько, голубушка... Сейчас я прижму тебя триммерочком... вот видишь, как славно — ни вниз тебя, ни вверх не ведет... В режиме. Сама сидишь.

Обороты?

Норма.

Скорость?

Норма.

Славненько лезем... Выше, выше, выше...

Ясное дело, высота все время так накручиваться не будет, но пока хорошо прет, моя умница... А чего еще надо? Ничего не надо! Наше дело — вверх, остальное самописцы сработают — каждый наш чих без обмана зафиксируют...

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор...» Ох, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела...

Всегда удивляюсь, как незаметно небо темнеет: только что было чистое, легкое, голубое и вдруг пошло фиолетовым отливом наполняться, густеть. Теперь аккуратней шевелиться надо: рули те; а не те — вдруг ленивыми делаются, вялыми...

Скорость?

Норма.

И странно отсюда на землю смотреть. Сколько лет вижу, а не привыкну: вроде необитаемая земля... Вроде даже и не сама земля это, а подраскрашенный, слегка иллюминированный, как говорят топографы, план...

Трудно вообразить, что там люди суетятся... работают... читают... пишут... кто-то сплетничает... Все так, только здесь, в фиолетовом, мертвом небе, что едва поддерживает мой аппарат, совсем не хочется думать ни о чем отвлекающем.

Скорость?

Скорости осталось совсем немножко. Осторожно! Как нас еще в летной школе учили: кончается скорость — кончается полет и начинается свободное падение. Машина покачивается с крыла на крыло, тихонечко, плавно. Значит, все. Мне остается зафиксировать этот неустойчивый режим и, опустив нос, уходить с «потолка».

Хочется? Глупый вопрос: хочется — не хочется... надо.

Думаю: а вообще-то на каждой высоте есть свои опасные и даже особо опасные режимы. И земля не исключение. Опасных режимов надо бояться, но еще важнее — предвидеть. И это не просто слова: пока ты ожидаешь опасность, положение твое, во всяком случае, остается небезнадежным...

Время.

Обороты?

Скорость?

Вниз...

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ  
ОКЕАН!



С чего все началось и как получилось, что я вдруг оказался в Одессе? Как ни крути и сколько ни старайся, одним словом не ответить. Придется начинать издалека.

Когда я перевелся из экспериментального цеха в НИИ, мне казалось, будто я выиграл по трамвайному билету. Бац! — и милости просим — вот тебе наука, делай открытия, поражай мир, прославляй себя и отечество...

Но не успел я оглядеться на новом месте, прийти в себя, появился Фурман. Низенький, кругленький, сияющий улыбкой, он постоянно куда-то катился. Сама любезность, сама доброжелательность. Фурман просто ослеплял и гипнотизировал меня. Особенно речами.

— В науке нет ничего страшнее, чем серая масса посредственностей, собравшихся под одной крышей... — «Масса» он выговаривал так, будто в этом слове было штук восемь «с», а «посредственностей» тянул на хороший десяток «н». Но это так — подробность... И слова, и сам он внушали надежду.

— Наука требует бескомпромиссной честности, честности высшей пробы — и в мыслях, и в поступках каждого, кто собирается ей служить, — шелестел Фурман, а я умилялся.

— Наш НИИ даст возможность вам мыслить широко и раскованно... Есть ли что-нибудь более ценное для человека творческого? — спрашивал и тут же сам отвечал Фурман: — Разумеется, нет и быть не может.

Так выглядели наши отношения в первые дни. А потом начались будни.

Работа моя решительно ни в чем не отличалась от той, что я делал на старом месте. Фурман собирал материал для капитальной монографии, и все младшие и

просто научные сотрудники работали за рудокопов. День и ночь лопатили на ЭВМ. Вероятно, это было справедливо. Время великих одиночек прошло. И Фарадеи давно уже не просматриваются на наших горизонтах. В светлые дали науки толкают здоровые коллективы единомышленников.

Против коллектива не возражаю! Против здорового — тем более. Но ни того ни другого в нашей конторе как раз и не оказалось.

Теперь уже нет смысла раздавать призы и выяснять, кто был виноват больше, кто меньше. Себя я тоже не оправдываю, и я дров наломал... Короче говоря, мое проникновение в глубины науки очень скоро закончилось, и под занавес Фурман выдал мне приблизительно такую тираду:

— Вот вы постоянно требуете независимости, вам не нравится опека, вы утверждаете, что вам недостает доверия. Хорошо! Положим, мы дадим вам полную независимость, снимем всякий контроль — на время, разумеется, — и обеспечим полным доверием. Что вы станете делать после этого? То есть я хочу знать вашу позитивную программу. Меня интересуют ваши конструктивные идеи. А проще — что вы хотите создавать, а не уничтожать? Прошу, изложите хотя бы вкратце.

С полчасика я толковал Фурману о своих намерениях и планах. Он не перебивал меня, механически качал головой и... не слушал. Клянусь — не слушал. Все, что я пытался доказать, было ему неинтересно, не нужно, скучно... Плевать он на меня хотел, я это видел по его скользким, закатившимся куда-то на затылок глазам. А потом, когда я иссяк и заткнулся, Фурман сказал:

— Все ясно. Вы способны осуждать, видеть чужие промахи и преувеличивать не ваши ошибки. Чтобы поправить дело и изменить жизнь к лучшему, а тем более чтобы создать что-то существенно новое, этого мало, Габов.

Я понимал — сопротивляться бесполезно, моя песенка спета, в этом НИИ уж точно, и никакие слова ничего не изменят. Видно, Фурман услышал, как во мне надломилась какая-то главная кость, и стал добивать:

— Не исключено, что и мы чем-то перед вами виноваты, но только не в ограничении ваших научных возможностей. Как бы трудно мне ни было это сказать, но положение обязывает: боюсь, что к научной деятельности вы не способны, Габов. Ваше амплуа — разговорный жанр. Вы, голубчик, родились для эстрады, а угодили почему-то в инженеры. Можете на меня жаловаться. Это святое право каждого трудящегося...

Нет, жаловаться я не стал, не использовал «святого права», а расстался с наукой, как принято в таких случаях, «по собственному желанию». Но Фурман был не единственной причиной, побудившей совершить этот шаг.

Когда я только пришел в НИИ, когда Фурман еще ворковал и обнадеживал, а я хлопал ушами и умилялся, со мной произошла совершенно дурацкая история.

В этом НИИ работала... даже не знаю, как ее назвать — дама, коллега, женщина? Словом, некто по имени Зоя. Собой — ничего. Не красавица и не крокодил. Так — помесь. Была она лет на пять старше меня. Но на глаз такое трудно обнаруживалось: следила за собой — физзарядка, душ, аутотренинг... Словом, можно позавидовать. И старалась Зоя не зря — фигурка как из балета на льду, ноги до горла, талия что у осы и никаких излишеств нигде...

А началось все так.

Стою курю в коридоре. Подходит, кладет мне руки на плечи, заглядывает в самые зрачки:

— Вам надо читать Стефана Цвейга, мой прекрасный юноша. Это Цвейг сказал: «...нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей». Понятно? — Повернулась и как ни в чем не бывало пошла, пошел-

кивая каблучками, в свою лабораторию. А я остался стоять, хлопая глазами.

Потом у ребят спросил, что это, дескать, за странная, мягко выражаясь, особа? А они: тс-с, Зоя Александровна не такая уж странная — кандидат наук она, голова... но имеет слабость к молодым людям твоего, то есть моего, типа. Берегись! Зоя Александровна — роковая женщина: как она решит, заметь — она, а не ты, — так и будет...

И верно, я, можно сказать, даже и не заметил, как очутился у нее под крылышком и как с самого начала она решительно повела «в счете».

Теперь думаю: ну а что любой другой на моем бы месте сделал, когда такая женщина взяла его за уши, поцеловала в губы и, смеясь, шепнула:

— Милый мой дурачок, а не пора ли снять напряжение?

Хуже другое — она и на самом деле взяла меня в плен, лишила воли. Надо мной открыто подтрунивали, кое-кто жалел меня, наверное, половина института посмеивалась, я злился и все равно по первому же ее взгляду шел на приводную... И все это время с самого начала знал, чувствовал — добром не кончится, знал, да сделать ничего не мог.

А тут как раз отец... и я совсем скис.

И бежал ото всех — от матери, от Тины, от ее всем и всегда довольного Павла. Куда мне было деваться? Само собой получилось — к Зое, больше некуда.

Между прочим, Зое я ничего в подробностях не рассказывал, ни про отца, ни вообще домашнюю ситуацию не расшифровывал. Словом, она знала о самом факте.

И вот как-то привалившись ко мне, заглядывая в глаза тихонечко так, не сказала даже, а промурлыкала:

— Помнишь, как у Ремарка: «Герои должны умирать. Если они выживают, то становятся скучнейшими людьми на свете...»

Скорее всего она это без задней мысли, не по злобе



сказала, может, даже в утешение. Зою вообще-то нелегко было понимать. Только тут меня всего аж передернуло, и как случилось, не понимаю — только, не задумываясь о последствиях, ляпнул я всей пятерней по ее физиономии...

Она не расплакалась, вроде даже не очень удивилась.

— Кажется, ты начинаешь меня воспитывать, Алешенька? Может быть, так и надо... я подумаю. А пока — ступай. Я скажу, когда тебе можно будет вернуться.

Что было делать? Просить прощения? Каяться?

Ничего этого я не стал делать — ушел. Было мне и стыдно, и неприятно, и тошно.

Но, что противнее всего, когда примерно через неделю она позвала меня, я опять пошел. Да какое там пошел — полетел, как наскипидаренный... И все было так, будто ничего вообще не было.

— Ты хорошо смеешься, Алешенька! А смех, как метко определил французский классик прошлого века, — «физиономия ума». Умница моя. Мальчик мой. Хороший. Соскучился? Я — соскучилась! И не скрываю.

Чем дальше, тем невозможнее все это становилось. Я уже не мог слышать ее голоса, меня бесила ее эрудиция, и эта идиотская манера без конца и по любому поводу цитировать великих, меня раздражал ее агрессивный цинизм, и все равно я бежал к ней, словно боялся опоздать.

Конечно, Зоя — умная баба, этого у нее не отнять. Однажды я попытался соврать, не помню даже, по какому поводу; она только усмехнулась и, длинно растягивая слова, сказала:

— Але-шень-ка, го-лу-бо-чек мой, если врешь, то хоть делай это вдох-но-вен-но.

В конце концов я попытался взбунтоваться. Придрался к пустяку, не стоявшему совершенно никакого внимания, и стал, как последний дурак, демонстративно ухаживать за миленькой, глупенькой буфетчицей Капой. Вот,

мол, пусть все видят — с Зоей кончено, и я, свободный человек, поднимаюсь на очередной виток своей жизни!

Я куражился и кукарекал форменным петухом...

Как ни странно это может показаться, меня осудили все, кроме... Капы и Зои Александровны.

Капа краснела, роняла тарелки, когда я входил в буфет; млела, стоило мне выдать любую двусмысленность, а Зоя Александровна только посмеивалась.

И так продолжалось две недели.

А потом я получил телеграмму.

**С ПОШЛИНОЙ БЕССМЕРТНОЙ ПОШЛОСТИ КАК  
СПРАВЛЯЕТСЯ БЕДНЯК КОНЕЦ ЦИТАТЫ ИЗ  
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ ХВАТИТ ЖДУ ЗАВТРА  
ДЕВЯТЬ**

И я пошел. И был у нее ровно в девять, что называется, с боем часов.

Зоя посмотрела на меня вовсе не осуждающе, а сочувственно и спросила:

— Для чего портить жизнь этой хорошенькой обезьянке? Или ты не понимаешь, что дураков надо беречь?! На их фоне мы выглядим куда лучше, Алешенька...

И это — вторая причина, по которой я оказался в Одессе. Вторая, но тоже не последняя.

День за днем меня преследовали строчки из письма тети Леси, которое я случайно прочел. Я видел эти строчки, будто они были написаны на потолке, в таблицах радиотехнических справочников, даже на изнанке век, когда я закрывал глаза.

«По-моему, ты просто не понимаешь, чего натворила. Это надо же было додуматься пойти к начальству!.. Ну а если когда-нибудь, от кого-нибудь случайно он узнает, что ты сама пошла и заложила его, предала... неужели ты думаешь, что он простит такое?»

А ведь он простил. Простил!

И знал об этом только я. И ничего не мог ей сказать, потому что обещал отцу молчать. А если совсем

честно, так я и не хотел ничего говорить матери. Да, не хотел. Я не испытывал к ней сочувствия. Понимал — плохо это, так не должно быть. Но так было.

Мне не удастся притворяться, а тут я притворялся все время. И вероятно, это последняя причина, прогнавшая меня из дому.

Что же касается самой Одессы-города, так Одесса — чистая случайность. Мог быть и Мурманск...

В Одессе я должен установить шесть блоков специального оборудования на старом-престаром пароходе и после этого сто дней качаться с моими драгоценными ящиками по разным морям, под разными широтами. Такая командировка называется, как сказано в приказе: «Испытание изделия СК26/Н в условиях тропиков и экстремальных морских нагрузок».

Собственно, испытания буду вести не я — океан, а мое дело состоять кем-то вроде секретаря и статиста при изделии, фиксируя поведение каждого блока в специальном дневнике.

Если наша посуда начнет тонуть, я должен спасать ящики. Как? Ориентируясь на местные условия и не пренебрегая никакими возможностями...

И еще мне предстоит постоянно помнить, что поставленные на испытание блоки обошлись государству в десять раз дороже, чем весь пароход со всеми находящимися на нем грузами.

Законный вопрос: а кому это все нужно?

Наикратчайший ответ: будущему! Когда-нибудь любой человек, находящийся на поверхности земного шара или в непосредственной близости, сможет мгновенно связаться с другим человеком. Чтобы эта мечта воплотилась в реальную конструкцию, в систему, сегодня надо качать наши изделия в океане, держать их под ударами тропических ливней, парить на экваториальном солнце. Ничего удивительного: первая компьютерная установка была величиной с дом, а сегодня индивидуальная ЭВМ вполне умещается в футляре пишущей машинки...

Вот так.

А пока — ни океана, ни тропиков, ни экстремальных условий. Только Одесса...

В школе я учился довольно-таки турбулентно, а ежели сказать проще — то густо, то пусто. По математике и физике — преимущественно густо, по литературе, географии, истории — как получится.

Но память у меня всегда была хорошая. И стихи как-то сами собой вклеивались в голову. Правда, не те, что нас заставляли зубрить наизусть, те мне почему-то не нравились, те раздражали...

Почему я вспомнил об этом сейчас и здесь? А вот почему: не успел шагнуть на одесскую землю, и сразу во мне появился Пушкин. Появился в том, значит, смысле, что стихи его сами собой всплыли в памяти:

В году недель пять-шесть Одесса  
По воле бурного Зевеса  
Потоплена, запружена.  
Все дома на аршин загрязнут,  
Лишь на ходулях пешеход  
По улице дерзает вброд,  
Кареты, люди тонут, вязнут,  
И в дрожках вол, рога склоняя,  
Сменяет хилого коня...

Пусть Фурман и наговорил на прощание, будто по призыванию я эстражник и к тому же еще критикан, но, может, это не так уж и плохо? Может, так и надо — видеть плохое и не молчать? Вот Александр Сергеевич не очень-то стеснялся правду про Одессу говорить, хотя, судя по всему, он любил этот город!

А дальше что он писал?

Но уж дробит камня молот,  
И скоро звонкой мостовой  
Покроется спасенный город,  
Как будто кованой броней.

Вообще-то я не лирик, хотя этим, пожалуй, хвастать нечего, да что делать, если таким уродился... Все, что можно подсчитать, свести в график, мне куда понятнее и ближе изложенного в словах и представленного в так называемых образах. Может, в чем-то Фурман и прав, но не в главном... Хотя черт с ним, с Фурманом!..

Но Пушкин! Это — Пушкин!

Однако в сей Одессе влажной,  
Еще есть недостаток важный;  
Чего б вы думали? — воды...

Тут я немножко подзабыл, строчки три, наверное, а дальше так.

Но солнце южное, но море...  
Чего ж вам более, друзья?  
Благословенные края!

Вот так начинается для меня Одесса.

И все-таки я еще раз, надеюсь, последний, вспомню Фурмана. Мы не спелись, не нашли общего языка, но потому ли, что плох я или плох он? Возможно, мы оба — хуже, каждый по-своему... А возможно, мы существуем в разных масштабах, и мне еще расти и расти до тех высот, на которых я не сумел удержаться?..

Завтра с утра пойду в пароходство. Надо представиться, проверить мой бесценный груз и соображать, как распределить его на посудине, которая отнюдь не экспедиционное судно, а обыкновенный ископаемый пароход, чуть не девятнадцатого года постройки, перевозящий что придется — от каменного угля до риса и каучука включительно.

А пока думаю: написать Зое или не стоит?

Я ведь уехал, как сбежал, даже по телефону не попрощался. Честно говоря, с моей стороны это свинство. Фурману писать нечего, а Зое... даже не знаю. Как-никак, но от нее я видел больше хорошего, чем плохого.

Только ей нельзя просто писать: привет из солнечной Одессы! Ей надо чего-нибудь интеллектуальное выдать. Завернуть про «одесситов» порядка Пушкина, Адама Мицкевича, Гоголя, Гарибальди... Кто еще пасса в Одессе? Ах, да — Менделеев, Александр Степанович Попов, Бабель, Илья Ильф... Вот, черт возьми, а чердак у меня ничего — держит! И Катаев отсюда, и Юрий Олеша — во писатель! Несостоявшийся классик!...

А кто еще «одесситы»? Паустовский, Утесов... Герцога Ришелье не стоит упоминать — пошло. Дерибасовская и Ришельевская даже в блатном эпосе фигурируют... А вот что в Одесской лестнице, увековеченной Сергеем Эйзенштейном, ровно двести ступенек — сам сегодня пересчитал — это ввернуть можно и, что по этой лестнице умудрился въехать на мотоцикле Сергей Уточкин, тоже сказано стоит...

И вообще, если я буду писать Зое, то начну, пожалуй, так: «О женщина, привет тебе с 46° 29' северной широты и 30° 46' восточной долготы!» Звучит? По-моему, шикарно звучит. И уж, во всяком случае, не избито.

Только для чего писать? Вот именно — для чего?

Что я ей? Эпизод, в лучшем случае — мимолетное видение, но, конечно, не гений и тем более — чистой красоты...

Кстати, бабушка моя родом из Одессы. Евдокия Ивановна — мать отца.

Странно, я был не совсем уж маленьким, когда она умерла, но почти ее не помню. Почему бы это? Отец рассказывал о своем отце. Он погиб в ополчении под Москвой, когда я еще не родился; дома у нас всего-то одна фотография деда сохранилась — дешевенький, старый снимок, наверное, работа какого-нибудь базарного пушкаря. И все-таки деда я вполне себе представляю, а бабушку — нет.

Дед часовщиком был. Всю жизнь «ковал» деньги, но так и не разбогател.

Конечно, Заболоцкий не про него писал:

Не дорогой ты шел, а обочинной,  
Не нашел ты пути своего,  
Осторожный, всю жизнь озабоченный,  
Неизвестно во имя чего! —

но представляется мне, будто строчки эти деду как раз по мерке — тик в тик.

Когда вся эта история с письмом тети Леси закрутилась, я долго ждал отца во дворе. Дождался и начал: тут, мол, такая штука... ты не одобришь, я знаю... но уж так вышло... Словом, долго я не мог до сути дойти, а когда дошел и отец сообразил, в чем дело, перебил меня и сказал:

— Не надо, Алеша, дальше не рассказывай. Догадываюсь, что к чему, а подробности значения не имеют...— И вдруг сунул мне в руку деньги. У меня глаза на лоб! — тут такое творится, а он — деньги! Потом узнал, что это за капитал. Почему отец вдруг решил мне эти деньги отдать, не знаю. Скорее всего от волнения сунул. Едва ли ему могло в голову прийти дедовское наследство мне передавать...

Наследство! Даже смешно.

Сперва я не знал, что с этими деньгами делать. Подумал было положить их обратно в сберкассу, чтобы размножались. Но прикинул, что из этого получится еще лет через двадцать при трех процентах годовых, и решил — игра не стоит свеч.

В конце концов мы с Зойкой просадили все за один вечер. В ресторане. Особенно весело не было. Но когда дошло, что «наследство промотано», на душе как-то легче стало. «Тени прошлого, — подумал я, — не будут тревожить. Все хорошо, что хорошо кончается».

И вот только теперь, в Одессе, впервые вспомнил обо всей этой истории.

Странно все-таки — меня нисколько не волнуют предки.

О родителях отца я хоть что-то знаю, а об отце и матери моей матери — ровным счетом ничего. Будто их и вовсе не было.

Конечно, мы не графы и никакие не аристократы, но все-таки откуда-то начались?

И что значит наша фамилия — Габовы, как образовалась? Ничего этого я не ведаю. По-моему, и отец тоже не в курсе был. Он вообще редко рассказывал про свою семью, а если и рассказывал — или смешное или несуразное.

Вот, например.

Играли его родители в лото. А он взял бритву и стал со скуки отрезать от занавесок какие-то вишенки или рябинки, словом — ягоды. Дед засек и вломил линейкой. А он разозлился еще больше и заявил своему папаше: «Все равно ты дурак!» Дед почему-то сразу успокоился и стал объяснять: дураку не надо говорить, что он дурак... не поймет...

Когда отец в первый раз стал эту семейную байку рассказывать, я половины не понял, кроме линейки, конечно, но все равно очень смеялся. Маленький был совсем — от горшка два вершка.

А мать строила бате страшные глаза и в конце концов, не выдержав, сказала:

— Леня, при детях!

Он ответил:

— Ну и что? Словами детей не портят, портят плохими примерами.

В последнее время, уже после того, как я вылетел от Фурмана, я что-то часто вспоминаю об отце. Почему, даже не знаю.

Думать о нем теперь уже не так трудно, как раньше. И вспоминается только хорошее, хотя, если разобраться, было между нами всякое...

И не в том дело, кого он любил больше — Тинку или



меня, этого я точно не знаю даже. Почему-то я с малых лет побаивался его, или, точнее сказать, стеснялся. Он как бы двоился в моем представлении: с одной стороны, просто батя или папа, как у всех, а с другой — герой, знаменитость, на улице чужие люди узнают. Может, от этого я сам себе казался каким-то придавленным рядом с ним, незащищенным, лишним, что ли...

Многие, знаю, завидуют детям, так сказать, знаменитых папаш — дескать, им куда легче пробиваться... Ерунда! От великих предков тени гуще, а в тени — и холодно, и не сразу вылезешь, хотя это скорее всего очень индивидуально.

Вот Тина, та плевать хотела, что нашего отца все знают; для нее он папка и папка был, и она ему будь здоров как характер показывала, а я не мог — стеснялся.

Потом, когда уже в институт поступил, мне всегда неприятно было, если кто-нибудь спрашивал:

— А вы случайно не сын Габова?

В таких случаях я отвечал по-разному, в зависимости от настроения:

— Нет-нет, мы даже не однофамильцы.

Или:

— Именно — с л у ч а й н о!

Так было. А теперь жалею, что на увеличенном интервале мы с ним жили...

Времени-то сколько?

Ого, половина двенадцатого! И не заметил, как накачало. Пора заваливаться. Завтра подъем в шесть ноль-ноль.

Интересно, а в море я буду укачиваться или нет?

Вдруг буду?

Габов укачивается!

— Вы случайно не сын того Габова? Как — того? И укачиваетесь?

Что делать?..

Так вы Габов или не Габов?

Нет. Я Мефистофель и Фауст, прописанный на одной лестничной площадке...

Ясно?

И кроме того, я опасно остроумный человек, как сказал доктор тех или иных наук Фурман...

Берегитесь!..

И... опасайтесь...

27 июня

Ночью перешли 23° северной широты. Поздравляю! Над тобой тропик Рака. Чувствуй и восхищайся!

А перед тем у команды была техническая учеба. Рак или Козерог — все едино — учиться положено! Наверное, когда наши ребята высадутся на Луне или даже на Венере, там у них тоже будет техучеба. И зачеты будут...

Въедливый стармех долго и нудно объяснял устройство холодильной установки. Стармех — дока! Впервые, на своей посудине он знает абсолютно все. Спроси у него, какой диаметр шпигата, ответит не задумываясь: во-вторых, все, что он знает, он способен растолковать даже чугунному кнехту. Терпение у стармеха просто-таки железобетонное. А установку эту холодильную, по-моему, дешевле списать, чем ремонтировать... Впрочем, тихо. Не мое это дело — вмешиваться в чужую службу...

Перехожу на лирику.

Перед восходом луны море заискрилось миллионами каких-то подводных светлячков. Крошечные голубоватые огоньки дрожали, как отраженные в воде звезды. Ну-у-у, зрелище! Обалдеть можно.

А на палубе крутили кино «С добрым утром!».

Фильма я смотреть не стал, ушел в каюту.

Сижу и соображаю: «Ну, моряк, нравится тебе такая жизнь?»

С ходу даже затрудняюсь ответить. Слов нет, море —

это роскошь. Душа отдыхает, когда глядишь на бесконечный его простор, и в голове какое-то успокоение наступает. Может, потому, что вне видимости берегов только и начинаешь понимать, сколь велик мир и сколь несоизмеримо мал ты — человек.

Пожалуй, я бы так сказал: океан ставит человека на место.

Давно я слышал от старичка одного: вот, мол, жизнь прошла, ждать больше нечего... и так далее. Почувствовал — не то старый городит, а возразить не смог. Теперь бы сказал:

— Стоп, дедуля! Три смычки в воду! Жизнь никогда не проходит, это мы по жизни проходим.

Ну как? Спиноза?!

А служба судовая меня лично в восторг не приводит. Однообразная, изнурительная работа, замкнутый коллектив, никакой возможности остаться наедине с собой. Конечно, у меня положение особое — я никому непосредственно не подчиняюсь, вахт не стою, словом, я вроде туриста, оберегающего свои чемоданы. Так жить можно, а стать, например, штурманским помощником, войти в штат, да еще к такому капитану, как наш, нет уж, благодарю покорно...

Собственно, ничего определенно плохого о капитане я сказать не могу. Старик тридцать пять лет на мостике, хлебнул на службе всякого: и в плену у Франко в тридцать шестом году сидел, где его сначала морили голодом, а потом травили крысами в затапливаемой камере, воевал всю Отечественную, тонул... Словом, биография — хоть роман пиши! Когда мы только познакомились, он спросил:

— Вы Грина Александра Степановича уважаете?

Вопрос оказался неожиданным, и ответил я достаточно неопределенно, в том смысле, что романтическая литература мне вообще не импонирует, хотя...

Капитан перебил меня:

— Все, что написал ваш Грин,— сплошная бульба.

Но за слова: «Море и любовь не терпят педантов» — памятник ему поставить надо.

После такого вступления я как-то сразу проникся к капитану почтением, а потом стал присматриваться и вижу — нелюдимый, грубый, желчно-насмешливый. На днях вот раскричался на матроса, за что, я даже не знаю, и кто из них двоих был прав, судить не могу. Матрос молчал-молчал, а потом огрызнулся:

— А чего вы на меня кричите?.. — Что-то он еще хотел сказать, а капитан как рявкнет:

— Кричу и буду кричать! Или мне на тебя, дурака, молиться прикажешь? — Плюнул под ноги, повернулся и ушел.

Может, это мелкий случай. Так, чепуха. Только у меня очень уж тягостное ощущение осталось. Тем более что перед этим, в порядке приобщения к морской службе, я читал «Устав службы на судах Морского Флота Союза ССР». Там, в этом уставе, есть параграф 61: «Капитан является полновластным руководителем и организатором работ на судне, доверенным лицом Советского социалистического государства, лицом, которому полностью вручено судно, жизнь людей и поручено единоличное управление».

Что ж выходит? Ты не от себя на человека орешь, а от имени Государства! По-моему, так не годится.

Подвернулся случай, и я высказал капитану, что по этому поводу думаю, а он усмехнулся, он всегда усмехается, и сказал:

— Теоретик! Права не могут быть шире ответственности, а ответственность шире прав. Соображаешь? Отвечаю за все и за всех я один, а что — могу? Что? Вот если бы мог разгильдяя и обормота согнать с борта в первом же порту, тогда бы и кричать ни на кого не требовалось... А так попробуй — воздействуй на дурака, когда ему и море и служба до лампочки... Он ведь для чего плавать пошел? За гроши...

— Что же, все за гроши плавают? — усомнился я.

— Почему? Конечно, не все. Так я, между прочим, на всех подряд и не ору. Только на отдельных и только в исключительных случаях. Когда терпение лопається. Или я, по-твоему, что — железный? У меня тоже нервы.

Вот и разберись, кто прав, а кто виноват. Да-а, люди-то не в две краски — белую и черную — смотрятся, люди — с оттенками. И сразу не скажешь даже, в ком светлая, а в ком темная красочка преобладает. Пожалуй, лучше не спешить с этим.

К капитану я отношусь без особой симпатии. То он говорит вполне понятные вещи, например:

— Быть богатым и каждый день сытым, что греха таить, — приятно... но скучно. — А то вдруг разведет такую философию, что и не сообразить — шутит он или всерьез: — К жизни, — говорит, — надо относиться просто: сел за стол — играй. И пусть заранее известно — выиграша не будет, все равно соображай, передергивай и старайся продержаться подольше... Вот так! А банкومت — судьба...

Попробуй разберись.

Впрочем, не моя это забота — разбираться. Хватит, я уже с Фурманом наразбирался. Теперь мое дело — сохранять «чемоданы» и регистрировать поведение блоков. Пока что, надо заметить, все хозяйство ведет себя вполне прилично. И трудность одна — почти все проявляют большее или меньшее любопытство к моему багажу. А что сказать? Как объяснить? У меня просто не хватит таланта растолковать, а у них — подготовки, чтобы разобратся в технической сложности нашей аппаратуры.

И громких слов произносить не хочется, а как обойтись, когда наши установки действительно предназначены для будущего, и область их применения — Вселенная.

А ребята спрашивают:

— Ну, положим, судовая рация откажет, сможешь ты своими средствами помочь?

Или:

— А пеленговаться твоей техникой можно?

И приходится отвечать: нет.

Ну, чем я виноват? Правда, ведь не для того мои блоки предназначены. А у людей делаются разочарованные и насмешливые лица: дескать, чего этот дурак тут болтается, если его коробки ни на что не пригодны?

Ладно, об этом толковать — только расстраиваться...

А сегодня первой помощник спросил, какое отношение я имею к тому Габову.

— К какому тому? — вроде не поняв, поинтересовался я.

— К летчику-испытателю... — И пошел чесать выдержками из биографии отца.

Сначала я хотел ответить, как часто отвечаю:

— Мы даже не однофамильцы, — но передумал и сказал: — В некотором смысле родственник.

И он впиявился:

— Давай проведи беседу с личным составом, расскажи что-нибудь о воспитании мужества на конкретных примерах.

Понятное дело, я начал отказываться. Интересно, что бы я стал рассказывать о мужестве летчика-испытателя Габова? Что я знаю и какое имею право толковать об этом?

Вообще, как ни странно, но о родном отце я помню самое несущественное.

Было мне лет двенадцать, пришел он вечером домой, долго копался в ящике с инструментом, а потом вдруг спросил:

— Мужик, денька на три со мной на Волгу слетать не хочешь?

— Когда? — почему-то поинтересовался я, хотя был готов тут же нестись на аэродром.

У отца сделались хитро-насмешливые глаза, и он очень серьезно сказал:

— Если тебе дела позволяют, скажем, завтра утречком мы б вылетели, а в воскресенье вернулись.

Странно, я ведь понимал, что отец подсмеивается надо мной, но все-таки не сказал сразу — хочу, а спросил еще:

— Куда надо лететь?

— Если не возражаешь, в район Горького.

Возражать я не стал.

Мы летели на стареньком Ли-2. Отец пилотировал с правого сиденья, а я, лопаясь от гордости и воображая черт знает что, сидел в кресле командира корабля. Сам по себе полет не очень нравился — машину довольно сильно болтало, и меня мутило, кроме того, в кабине было жарко, противно воняло бензином, но все-таки я чувствовал себя жутко важным, и это было приятно.

Почему наш Ли-2 должен был находиться на аэродроме целых три дня, я точно не знаю, кажется, на машине что-то устанавливали или заменяли, во всяком случае, отцу, штурману и мне делать там было нечего, и мы поехали в Василево, на родину Чкалова. Сначала рыбачили и ночевали у костра, а потом отец повел меня в дом-музей Валерия Павловича.

И самолет АНТ-25 — здоровущий такой, с длинными красными крыльями, и вся атмосфера чкаловского дома производили впечатление и запоминались, но все затмила копейка.

Среди множества экспонатов в стеклянном шкафу было выставлено обмундирование Чкалова, в котором Валерий Павлович летал через Северный полюс в Америку; там же, на красном бархате, лежали наручные часы, перочинный ножик, кажется, еще — кошелек и отдельно копейка, обыкновенная потускневшая копейка.

Экскурсовод, некрасивая худая женщина, бойко рассказывала:

— Когда Валерий Павлович перелетел через полюс и очутился в Америке, он случайно обнаружил эту завалявшуюся в кармане копейку. Каким-то образом про копейку узнали репортеры и написали в газетах: вот-де, самая необыкновенная монетка на земле, монетка, по-

бывавшая на полюсе! И сразу посыпались предложения от коллекционеров редкостей — двадцать долларов, пятьдесят, сто предлагали они за эту уникальную копейку.

— Не продается! — сказал Чкалов и привез монетку домой, в Россию. Вот так и попала эта единственная в своем роде денежка в наш музей, пережив своего знаменитого обладателя, так превратилась она в бесценный экспонат...

Может быть, это покажется странным, но о Чкалове я знал не так уж много. Отец отзывался о нем сдержанно. Запомнилось, как он при мне сказал какому-то человеку, вероятно, газетному корреспонденту, долго спрашивающему отца об авиации:

— А кому нужны ярлыки? Лично я не знаю, какой меркой определяют, кто великий летчик своего времени, а кто просто хороший. В моем представлении летчики бывают надежными и не вполне надежными...

Но тогда, на Волге, копейка произвела, видать, и на отца впечатление. Он долго ее рассматривал, а потом сказал мне:

— Запомни, мужик, не все продается. Не все.

Кажется, только теперь я начинаю понимать, какой смысл вкладывал отец в это «не все».

Кино кончилось. На палубе прямо-таки конский топот.

Вообще это здорово придумано — деревянные подошвы с ремешками вместо рабочих ботинок: и горячей палубы бояться не надо, и по воде топать удобно, только гремят — страшное дело.

Интересно, кому это капитан опять мозги вправляет? Надо же — и тут в каюте слышно:

— Что-то умишком ты, брат, похудел, а рожу нажрал, замечаю, на велосипеде не объехать!...

Теперь я жалею, что мало к отцу тянулся, мало жизнью его интересовался. Наверное, и он про это ду-



мал — почему у нас с ним дружбы не получалось, а так только — доброе утро, как дела, спокойной ночи...

Раз, помню, вечером пришел отец домой с приятелями, трое или четверо их было. И один — кажется, штурман — стал матери рассказывать:

— Представляешь, тут твой красавец и говорит: «Пожалуйста, не пугайте меня. Я и так уже на войне и после войны хорошо пуганный. Лучше постарайтесь понять, в чем разница между нами? Я свое место могу хоть завтра уступить, а вы не можете». Шахвердов аж посинел от такого нахальства, а Ленька вроде ничего не замечает: «Проанализируем почему? Я без должности — все равно летчик, а вы без должности — отставник. Для чего же нам ссориться? Командовать за вас я не стремлюсь, не способен, а вы летать за меня не можете. Подумайте, взвесьте, а я пока с вашего разрешения откладываюсь...»

Кем был Шахвердов, я понятия не имел.

Но почему-то он представлялся мне генералом, раскормленным, свирепым. Смысла отцовских слов я толком не понимал и все-таки восхищался его поведением и робел перед ним.

Ну, мог ли я представить, чтобы у меня хватило храбрости держаться так перед директором школы, например?

Подражать отцу я пробовал много раз, но почему-то всегда неудачно.

В чем-то мы с ним, вероятно, принципиально разные, что ли...

Кажется, в восьмом, а может, и в девятом классе это было. Прислали к нам новую учительницу. Была она молодая и очень хорошенькая, в моем понимании. А как раз в это время до меня долетели весьма смутные слухи о романтических похождениях отца, едва не закончившихся семейной катастрофой. Не вдаваясь ни в существо, ни в подробности тех событий, я безоговорочно принял сторону отца. В каком смысле принял? Решил:

ухаживать за женщинами хорошо, мужественно и высокомерно. Буду тоже!

Новая учительница начала урок. А я с совершенно зоологическим интересом уставился на нее. Бедняга не выдержала моего нахального взгляда и имела неосторожность спросить:

— Что ты так смотришь на меня, Габов?

И я при всем классе, не задумываясь, буркнул:

— А разве нельзя внимательно смотреть на хорошенькую женщину?

Тут наступила такая тишина, что я даже испугался.

А она оказалась молодцом (это я теперь говорю — молодцом!), наша новая учительница. Не растерялась, подошла, притулилась на кончике парты, обняла меня за плечи и, заглядывая в глаза, сказала:

— Милый мой, а ты, как я вижу, настоящий мужчина. Ты знаешь женщин и умеешь нравиться? Только зачем же произносить такие слова во всеуслышанье? — Она совсем склонилась надо мной и, касаясь волосами моего лица, говорила в самое ухо: — Ну, скажи, только тихонько скажи, все до конца скажи.

Говорить мне было, естественно, нечего. Я аж взмок и чувствовал себя начисто стертым с лица земли. И тогда учительница засмеялась и, выпрямившись во весь рост, сказала:

— Эх ты! А туда же... Впрочем, особенно не огорчайся, Габов, со временем научишься.

И я сгорбился за своей партией, растоптанный и уничтоженный, а сердце, как в засаде, так и стучало, так и стучало, словно хотело выскочить и покатиться к ее ногам.

Много лет спустя я имел глупость рассказать об этом случае Зое. Нет, Зоя не очень надо мной смеялась, а по своему обыкновению сразила меня очередной цитатой. На этот раз из Бурлюка, друга Маяковского:

«Все человеческие отношения основаны только на выгоде. Любовь, дружба — это слова. Отношения крепки

в том случае, если людям выгодно относиться друг к другу хорошо. Мы помогаем один другому из-за выгоды, и тогда все между нами понятно и просто».

Я возмутился:

— Но это же откровенный, ничем не прикрытый и не припудренный цинизм, Зоя!

— Да. И что?

И снова я оказался в тупике, снова я не знал, как ответить, хотя все мое нутро было против такого отношения к людям и к жизни.

Ох как я ненавидел в этот момент и Зою, и ее феноменальную способность ссылаться на авторитеты — подлинные и мнимые.

Не знаю, почему я почти никогда не решался спрашивать советов у отца. Уверен, отец бы не оттолкнул меня, сказав: «Вырастешь, Леша, узнаешь», — и все-таки не решался.

Теперь я думаю, он ждал моих вопросов, хотел бы прийти на помощь, но или не решался проявлять инициативу сам, или откладывал до подходящего случая. Ведь отец был — я в этом совершенно убежден — по существу своему застенчивым и деликатным человеком. Во всяком случае, он никогда не лез в чужую душу, даже если душе этой было каких-нибудь пять лет от роду.

Мне как раз исполнилось столько, когда это случилось. Я дико ревел. Из-за чего, не помню. Ревел до икотки, до судорог. То ли меня кто-то обидел, то ли у меня что-то болело. Меня старалась успокоить мать, бабушка — и все без толку; мать даже прикрикнула на меня, чего обыкновенно не позволяла себе, — но тоже без пользы. И тут появился отец. Сквозь слезы он показался очень большим и размытым, будто я его видел не в фокусе. Отец был светло-голубой. Вероятно, он пришел из гаража в старом, вылинявшем летном комбинизоне. Он присел около меня и как-то просительно тихо сказал:

— Постарайся, мужик, задержать на секундочку дыхание. Вот так. Ну, пожалуйста. Иначе ты сорвешь связки и тогда долго не сможешь разговаривать.

По-видимому, я как-то отреагировал на его слова, потому что рев пресекся, хотя я все еще вздрагивал и даже икал. И тогда он еще сказал:

— А теперь плюнь подальше.

Это указание я исполнил с удовольствием.

— Очень хорошо,— сказал отец,— плюнь еще разок и еще подальше. Так. Еще разок давай...

Я сидел и с ожесточением плевался.

Отец подождал немного и объявил:

— Все в порядке. Теперь можешь реветь снова.— И тут же вышел из комнаты.

Странное дело — охота реветь пропала, но вот что еще удивительней — позже он не сказал мне ни слова, не сделал никакой попытки выяснить причину моих диких слез, не пытался прочесть мораль или хотя бы попрекнуть: эх ты, а еще мужчиной называешься!..

Вообще, он почти не учил меня, в том распространном смысле слова, когда один старается вложить в мозги другому свои мысли, проверенные решения, патентованную мудрость. Едва ли я могу припомнить двести отцовские нотации, услышанные за всю нашу совместную жизнь.

— Мужество, мужество! Не такой уж это сахар,— сказал отец, когда я разболтался о предстоящем мне в школе докладе: «Герой войны — герой труда». — Основа мужества — осознанное насилие над собственной личностью, если, конечно, мужество не слепое. И не думай, что кому-нибудь на войне хотелось таранить противника или закрывать телом амбразуру. Не надо оглуплять героев. С радостью не умирают. Ты все-таки подумай еще, и советую — поубавь в своем докладе восклицательных знаков.

Разговор был коротким и случайным, но долго не давал мне покоя. И только уже студентом, на целине, я

додумал эти отцовские слова: все трудное, что совершает человек, все рискованное, на что он отваживается, начинается с осознания необходимости.

Когда отец погиб, мне пришло в голову: а может, те графики, с которыми он отстаивал свое право летать, устарели... и он — сам...

Опрокинул машину на спину — и до земли.

Нет, этого не могло быть.

То есть он-то смог бы, я уверен... но на борту находился экипаж...

Он говорил мне, мальчишке:

— Самое большое, что ты можешь сделать сегодня, — не совершать подлостей и по возможности удерживать от этого товарищей. Думаешь, мало? Не так мало и не так легко, как кажется со стороны...

И еще я запомнил:

— Чтобы быть порядочным человеком, не надо делать другим того, чего бы ты не хотел, чтобы другие делали тебе.

Нет, он не сам, конечно...

### *3 июля*

За правым бортом поднимается медленная волна. Поднимаясь, она истончается в вершине, окрашивается голубовато-зеленым светом, потом гребень седеет и врывается на пароход. Сначала слышен удар, легкое шипенье — и вода разбегается по палубе. Красиво! Но ходишь как на чужих ногах. Ставишь ступню и ждешь — поведет или удержишься...

Нас прикрывает остров Сокотра. Часа через четыре должны выйти в настоящий океан.

Когда было еще тихо, над водой бреющим пронесли серебристые летающие рыбки. Они величиной с ладонь, очень быстрые.

Забавно наблюдать за корабельной Жучкой. Чтобы

не угодить под очередную волну, она очень тщательно рассчитывает свой пробег вдоль палубы. Стоит смотрит вправо, смотрит влево, что-то соображает, потом, уловив просвет, несется, как наскипидаренная, к трапу.

Любить детей и животных учат все. Учат с большим или меньшим успехом, в зависимости от собственного таланта и восприимчивости обучаемых. И получается поразному. Но все равно не сочувствовать Жучке может только полный подонок. Ужас какая это преданная и трогательная собаченция. И она такая беспомощная в океане.

Стармех пристал чуть ли не с ножом к горлу — прочитай лекцию о новейших достижениях науки. Сначала я просто отмахивался: что я — академик? — а потом спросил:

— О какой науке или о каких достижениях науки вы хотите услышать?

— Вообще, — ответил стармех, — в нашем деле, как говорят японцы, «опыт важнее учения», но надо быть все-таки в курсе... И пусть чувствуют, наука — сила!

В конце концов я согласился, чтобы он не подумал: зазнается, «много о себе понимает», ну и так далее.

Свое «научное сообщение» я начал ссылкой на Норберта Винера. Рассказал, как однажды у него спросили, могут ли появиться машины, превосходящие умом человека? И будто бы Винер ответил: «Могут. Если люди поглупеют».

Странно, но это, на мой взгляд, вполне завлекательное вступление ни на кого особенного впечатления не произвело. Тогда, продолжая бить в ту же точку, я сказал: пока вычислительная машина еще достаточно «глупое» создание. Ее можно уподобить идиоту с необычайным быстродействием и огромной памятью... И снова слушатели не отреагировали на такой пассаж.

Пришлось подходить к проблеме с другой стороны.

В принципе, разъяснил я, можно поставить человека в такие условия, при которых вся его забота сведется к тому, чтобы реагировать на показания индикаторов. Человек может даже и не знать, что скрывается за показаниями этих индикаторов. Почему? Сводя роль личности к роли автомата, мы не используем преимуществ человеческого мозга перед машиной...

И тут вроде прорезало. Наконец-то я почувствовал: слушают.

Почти час рассказывал я ребятам о достижениях и возможностях электронно-вычислительной техники, о будущем автоматизации, о главных принципах построения систем человек — машина.

Кончил. Стали задавать вопросы.

Вопросы были разные — частью наивные, частью, как говорится, вполне на уровне, но большинство сводилось к тому, как бы приложить современные средства автоматизации и вычислительной техники к будничной морской работе?

Больше всех вопросов задавали парни из машинной команды.

Стармех, присутствовавший на этом говорении, мрачно помалкивал, а когда все разошлись и я спросил, доволен ли он беседой, угрюмо заметил:

— Как говорят японцы — «не по коню груз».

Вскоре после этого не очень-то удачного моего общения к жизни команды я стал замечать: матросы и особенно боцман поглядывают на меня с нескрываемой иронией. Не буду кривить душой — это неприятно, когда ты вызываешь чуть насмешливую, чуть сочувственную усмешечку окружающих, когда к тебе снисходят. Особенно это неприятно, когда впереди еще много дней плаванья в открытом море и уйти от кружения нет никакой возможности.

Сначала я считал — все из-за неудачного выступления, и наивно верил, что смогу исправить дело, подготовив новую лекцию на более высоком уровне, но тут

случайно услышал, как охарактеризовал мое выступление боцман:

— Говорит, как пишет, ничего не скажешь, только по его выходит, и машины идиёты, и люди дураки... Поглядеть бы, а что он сам может, если, допустим, не языком и не карандашиком...

И тут до меня дошло: работяг-слушателей оскорбило мое высокомерие, мой, как им, вероятно, показалось, развязный тон. Люди, бесконечно далекие от проблем высокой науки, они привыкли испытывать и к самой науке, и к тем, кто ей служит, безоговорочное, почти святое уважение.

Ах, дурак я, дурак, не умею с людьми!

И сразу вспомнилось: однажды осенью мы возвращались с отцом из лесу. Отец любил ходить по грибы и иногда брал меня с собой, особенно в сезон опят.

Выходя к дороге, увидели застрявший в грязи грузовик. Надрывно ревел мотор, по-сумасшедшему крутились задние колеса, выбивая из разъезженной колеи фонтаны рыжей грязи, но машина не трогалась с места.

Отец поставил корзинку с грибами на пенек, подошел к застрявшей машине и поманил шофера. Из кабины вылез лохматый молоденький паренек и недовольно уставился на отца.

— Все ты не так делаешь...— самым миролюбивым голосом сказал отец.

— А ты знаешь к а к ? — огрызнулся парнишка.

— Знаю.

— Ну и покажи, чем языком трепать: не так, не так...

— Наломай еловых лап,— велел отец шоферу и, когда тот принес охапку ярко-зеленых, пахнущих хвоей веток, аккуратно подсунул их под задние скаты.

— Теперь надо передние колеса вывернуть и поставить в колею прямо,— сказал отец,— и потихонечку сдавать назад, внатяг. Понял?

— Чего мне понимать,— снова огрызнулся парнишка,— ты понимаешь, вот и сдавай...



Насколько я замечал прежде, нахальства отец не поощрял и терпеть не мог, но тут он ничего не ответил пареньку, сел за руль, похлопал рукой по баранке, вроде бы сказал: а ну, умница, давай утрем сопли твоему хозяину,— машина, как будто поняв отца, послушно попятилась и, казалось, безо всякого усилия выехала на сухое место.

Лохматый водитель почесал грязной пятерней в затылке и, не поблагодарив отца, спросил:

— Или ты тоже шофером будешь?

— Нет,— сказал отец,— я летчиком буду.

— Врать-то! Летчик!..

На этом мы и расстались. Грузовик укатил, мы пошли пешком дальше.

Отец молчал-молчал, а потом вдруг сказал:

— А ведь прав, сопляк.

— Как это — прав? — не понял я.

— Не надо перед людьми выхваляться. Летчик! Подумаешь — летчик. Ему-то до этого что?

Вспомнив эту историю сразу после моего неудачного выступления, я подумал: «Чтобы быть своим среди людей, мало делить с ними стол, мало вместе смотреть кино или травить баланду в вечерний час, надо работать со всеми».

Вечером я попросил боцмана поставить меня на покраску. Как раз со следующего утра команда приступала к очередной покраске. Это собачья, изнурительная, но совершенно неизбежная работа на всех старых судах. Она никогда не кончается.

— Или скучно стало? — как мне показалось, ехидно спросил старик боцман.

— Почему скучно, просто есть время, чего ж без дела сидеть? — стараясь не заводится, ответил я.

— Ну-у. Желаеть, попробуй...

Для начала боцман дал мне ручник, легкое зубильце и велел сбивать ржавчину с переборки. Инструктаж его был предельно краток:

— И не проломи насквозь.

Тот, кто на собственном опыте не испытал этого наказания — под палящим солнцем тюкать по ржавому железу, сантиметр за сантиметром спуская рыжую, острую чешую, — тот не может понять, что ощущает человек через полчаса таких упражнений. Свидетельствую: через полчаса хочется плюнуть на общественное мнение, на собственный авторитет в массах, на все вообще условные ценности, закинуть ручник и зубило за борт и бежать в тень. Если ничего этого ты все-таки не совершишь и сумеешь превозмочь себя, примерно через час наступает отчаяние — руки саднит от ржавой пыли, начинают ныть плечи и невыносимо чесаться глаза, а потом приходит полное оупение...

Сколько продолжалась работа, сказать затрудняюсь. Знаю, закончили мы, когда уже начало темнеть.

Боцман подошел ко мне, поглядел, сколько и как я счистил ржавчины с переборки, и с ноткой извинения в голосе (во всяком случае, мне так показалось) сказал:

— Надо же — могешь!

И это «могешь» было моей индульгенцией.

Потом, лежа в душной каюте, ворочаясь с боку на бок и безуспешно пытаясь заснуть, я долго думал, как хитро устроена жизнь. Ну что мне одобрение боцмана? Даже не грамота от месткома. А ведь поди же ты — приятно. И я знал: завтра стану снова мучить себя, скалывая ржавчину, и буду ждать конца вахты, и чертыхаться — и что? А ничего, «просто человек затем и человек, чтобы находить в себе силы одолевать трудности и обретать в этом, может быть, главную радость жизни». Уверен, написав эти слова, Александр Трифонович Твардовский вовсе не предполагал какие-нибудь сверхъестественные трудности...

Конечно, когда наша аппаратура созреет и будет доведена до полной кондиции, когда настанет время не качать ее на старом пароходе, а загонять сначала в космос, а потом бросать в океан, вероятно, возникнут иные

трудности, совсем другого, более высокого порядка, но суть не изменится: кто «может», тот «может», а кто «не может», тот «не может». Это универсальный закон...

Странно все-таки бывает на этом свете: имеешь — не ценишь, а потеряешь — казнишь себя: эх, кабы знать да кабы ведать... Это не только отца касается. Многое я бы хотел теперь вернуть из утраченного, и больше всего — зря растраниженное время. Ведь кое-кто из моих сверстников, из тех, с кем в институте начинал, кандидатские успели защитить, а я все еще только «набираю высоту»...

Нет, мне диссертация не ради славы и не для денег нужна. Мне и вправду охота в науке жить. Пусть Фурман считает меня балалаечником — его личное дело, все-таки я о себе другого мнения. Жаль, никто у меня этого мнения не спрашивает.

А может, и не жаль. Что мнение — слова! Сотрясение среды... затухающие колебания.

Думаю: как птицы, обыкновенные перелетные птахи, находят свой путь над землей? Говорят, по солнцу, но ведь они и ночью летят... Говорят, по биологическим часам, но ведь это только фраза... Сколько людей ломали и ломают себе головы над этой проблемой, а птицы летят и летят — от берегов Ледовитого океана куда-нибудь в Африку. Много мне не надо, на теорию относительности не претендую, на управляемую термоядерную реакцию — тоже, но вот разгадать бы тайну миграции ласточек!..

Приблизиться к горизонту хочется. Конечно, горизонт лапой не потрогаешь, а охота...

Засыпаю под мерный шум машины и легкое жужжание вентилятора. Хочется увидеть добрый береговой сон. Чтобы в лесу, чтобы на холодке, чтобы в тиши случилось со мной что-нибудь хорошее...

Но сон, как назло, не снился, и только утром, по

сигналу пробудки, я узнаю, что спал. Конечно, у меня болят плечи, ноет спина; облупилась кожа на носу и щеках. И первая мысль — подлая: сегодня будет все снова, может быть, даже хуже, чем вчера. Не даю себе времени на поиск «хитрого хода», который увел бы меня от работы, и иду к боцману...

Не знаю, что легче — скалывать ржавчину зубилом или счищать проволочной щеткой. Сегодня я шаркаю по борту щеткой. Рыжая пыль оседает на руках, забивается в нос, ест глаза... Но этого мало — щетка производит еще отвратительный взвизгивающий звук, от которого делается кисло во рту и отдельные волоски на спине становятся дыбом...

Постепенно я втягиваюсь в мерный, отупляющий ритм моей ломовой работы и вроде бы перестаю реагировать на взвизгивания проволоки по железу.

Все-таки в моих жилах течет кровь настоящих мастеровых, и любая работа, требующая терпения и силы, всегда у меня получалась и получается не хуже, чем у других!.. Это приятная мысль. Самоутверждающая!

Жарко. Покачивает. Хочется пить. Стараюсь думать о чем-нибудь постороннем.

Что мне осталось от отца?

Во-первых, его потрепанная кожаная куртка. В последние годы он уже не летал в ней, а только копался под автомобилем. Кожа пахнет дешевым бензином. Куртка широковата в плечах, «молния» заедает, и закрывать ее надо очень осторожно...

Во-вторых, мне достались отцовские, большей частью технические книги. К сожалению, по работе я почти не соприкасаюсь с авиационной проблематикой, и эти книги стоят у меня на полках без дела...

В-третьих, у меня есть отцовское ружье. Очень дорогое, очень красивое, совсем новое. Ружье ему подарили на пятидесятилетие. Отец ни разу не выстрелил из

него. Он не любил охоты и всегда зло потешался над теми, кто ездит в разного рода заповедники и закрытые охотхозяйства проверять свое молодечество на полудомашних зайцах и домашних лосях...

А еще что осталось от отца?

Из вещественного — его аккуратные записные книжки. Штук двадцать. Они одинаковые с виду — размером чуть больше ладони, переплетенные в серый шершавый материал. Вероятно, он заказал их разом знакомому переплетчику. Книжки пронумерованы. Каждая страничка исписана ровным, густым почерком. Система записей мне непонятна — деловые заметки, связанные с работой, и отдельные слова вроде напоминания, и выписки из прочитанных книг, и постоянно повторяющиеся раздельчики: «Узнать» и «Сделать».

Узнать:

1. Вышла ли «Аэродинамика» Лев-она, втор. изданием?

2. Ставят ли сейчас «Аиду»? Когда?

3. Имя и отч. Защепина?

4. Ск. стоит трансформатор на 1 кВт? Есть ли в продаже?

5. РМЦ?

6. Кто занимается люминофорами? Ведомство?..

В этих его «Узнать» бывает и по пяти, и по двадцати пяти пунктов. И всегда столбиком, с номерочками, аккуратноенько. Выяснив то, что его интересовало, он вычеркивал вопросы. Вычеркивал ровной, словно по линейке проведенной чертой...

Признаться, я никогда не видел своего отца читающим. И только теперь, роясь в его записных книжках, узнал, как он много читал и какое разнообразное было у него чтение.

Вот он выписывает: «Тот лжет, кто утверждает, что не боится смерти. Всякий человек боится умереть: это великий закон чувствующих существ, без которого все смертные существа вскоре были бы уничтожены. Боязнь

эта — приспособление природы, не только безразличное, но и хорошее по существу и согласное с порядком вещей». Ж.-Ж. Руссо. И со свойственной отцу основательностью — Полн. собр. соч., 1876, т. II, с. 432.

Надо же! У него и на Руссо времени хватало, а я, признаться, так и Шиллера прочесть никак не могу. Знаю, конечно, классик и всякая такая штука, а чтобы до книжек его дотянуться, ну просто руки не доходят...

И по какому принципу он выписывал «классические» мысли, вот тоже не могу понять. Ну для чего ему это было нужно: «Шум еще ничего не доказывает: порой курица снесет яйцо, а кудахчет так, словно снесла целую планету». Марк Твен.

Выписал он эти слова, и что дальше?

И почему рядом с Марком Твеном оказался Козьма Прутков: «Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?..»

Едва ли отец собирал, аккуратно выписывал чужие мысли, чтобы просто щеголять ими письменно или устно — на него это непохоже. Может быть, чужие мысли помогали ему думать? Может быть, с их помощью он шлифовал свои собственные умозаключения?

Вот он выписал из Джеймса Кука: «Истинное удовлетворение дает не само достижение цели, а преодоление препятствий на пути к ней». И рядом теми же чернилами, только без кавычек: Заслуженная слава портит людей сравнительно редко, а незаслуженная — всегда и обязательно. Механизм славы — штука ясная, куда сложнее «ядовитая химия»...

Между прочим, я заметил, что с полярными путешественниками, капитанами дальних плаваний, учеными отец в своих записях как бы полемизировал чаще, чем с признанными писателями и философами, хотя выписок из знаменитых прозаиков в его книгах куда больше, чем других.

Возможно, если произвести тщательный анализ, можно установить его привязанности и его склонности к

определенным авторам. Но я этого не делаю. Для чего? Ведь и без статистики ясно: первым писателем, к которому он постоянно обращался, был Чехов.

А вот из Тургенева всего одна неполная строчка! «...только любовью и движется жизнь». И Тургенев. («Воробей») и уже за скобками — ??? и без кавычек: от яслей до крематория преследует человека плотный туман вранья. Люди так привыкают к нему, что и не помышляют о ясном небе. Живут как на Венере.

Почему он это записал? Может быть, в неудачный день? Или под плохое настроение? Все может быть... то есть — м о г л о быть.

А со стороны он казался таким ясным, таким в себе уверенным.

Перелистывая его записные книжки, снова и снова перечитывая каждую страничку, я думаю: а ведь он был одинок, мой отец. С кем ему было поделиться мыслями о цене жизни, об отношении к славе, о самовоспитании, о любви и ненависти? С матерью? Едва ли. С товарищами? Может быть, только я не знаю по-настоящему близких ему друзей. С той женщиной, к которой он собирался вроде когда-то уходить? Но была ли на самом деле женщина? А если и была, то это еще вопрос — т а или не т а?..

Едва ли записные книжки раскроют отцовскую жизнь, едва ли позволят узнать о нем больше, чем я знаю. И все-таки я читаю их снова и снова. Эти книжки — единственно оставшийся от него капитал, который может принести в будущем какие-то проценты.

«Честные сомнения все же лучше слепоты». Альфред Теннисон.

И рядом: Пушкин провел около 8 лет вне дома и наездил 34 (!) тысячи верст...

Странно, вечные Зоиные ссылки на авторитеты меня только раздражали, а записи отца не только не выводят из себя, а, напротив, заставляют думать и как-то мягко, необидно укоряют: «Серость ты, братец. Мало читал.

Мало знаешь. Плохо. Смотри, пройдет жизнь в сплошной суете».

И будто бы голос отца слышу:

— Думай, мужик, думай. Сам старайся...

Говорят, раньше инженеры умнее были. Сомневаюсь, но одно представляется мне вполне вероятным — общеобразовательный диапазон выдающихся инженеров старшей школы был пошире нашего. Коэффициент интеллигентности ценился когда-то дороже...

*12 июля*

Весь день идем вдоль Цейлонского берега. Каемка песка, дальше полоса зелени, еще дальше затуманенные дымкой горы. Главный контур возвышенностей сливается с краем бледно-голубого выгоревшего неба.

Цейлонский берег — оживленный морской проспект. Много встречных и попутных судов. Все попутные нас обгоняют. Впрочем, это и не удивительно: наша старушка построена в Сиекле в 1918 году. Учитывая это обстоятельство, мне, по возрасту младшему, полагается к ней обращаться на «вы», что я и стараюсь делать...

На палубе репетирует самодеятельность.

Выпущен очередной номер судового «Крокодила». Рисунки — ничего не скажешь — хороши, а что касается текстов — впечатление такое, будто у крокодила повыдергивали все зубы...

Кажется, у Эммануила Казакевича, если не ошибаюсь, в «Доме на площади» высказана такая мысль: дай много денег бескорыстному — и он поедет путешествовать, дай корыстолюбцу — он станет приумножать капитал.

Мне трудно говорить всерьез о глубине подобных идей, очень уж все это лежит на поверхности, но одно неоспоримо: Босфора, Адена, мимолетного видения Цейлона, ночей в Индийском океане я уже не могу промо-



тать, проиграть в карты, кому-нибудь подарить. Больше того — ничего этого у меня нельзя отобрать, не отбив предварительно память. Это — мое!

А черта тебе в мимолетном видении Цейлона? Ну и что с того, что его горы Педроталлагала в 2524 метра высотой и Киригалаллипола в 2380 метров поглядели тебе вслед?

Ничего, конечно, если мерить жизнь единственно комфортной меркой. Но если есть в тебе хоть что-то живое и беспокойное, то и Педроталлагала и Киригалаллипола имеют особую цену, хотя бы ту, что позволяет понять смысл превосходных строчек Расула Гамзатова:

Даже те, кому осталось, может,  
Пять минут глядеть на белый свет,  
Суетятся, лезут вон из кожи,  
Словно жить им еще сотни лет.

А вдали в молчанье стовековом  
Горы, глядя на шумливый люд,  
Замерли, печальны и суровы,  
Словно жить всего им пять минут.

— Слова! — сказал бы Фурман, услышь он такие рассуждения.

Что ж, пусть так думает и так считает, это беда его, а не моя! — что он за словами ищет один только голый смысл, не признавая ни чувств, ни эмоций. Позволю сделать такое заключение: мне жалко вас, товарищ Фурман, кандидат тех или иных наук, жалко потому, что доктором в недалеком будущем вы, вероятно, станете, а Человеком — едва ли. И больше я не стану с вами спорить. Желаете знать почему? Пожалуйста: с вами спорить не л ь з я. Когда я говорю вам: дважды два — четыре, вы беспардонно возражаете мне, но трижды два — девять. Так что оставайтесь со своей правдой,

пользуйтесь ею, желаю вам удачи! Ведь ваш бог, которому вы поклоняетесь с младых ногтей, учит: добейся удачи любой ценой и подними свой пиратский флаг над ошалевшим от «научных» фейерверков миром...

Интересно, кто формировал судовую библиотеку? Книг тут довольно много — тысяч пять томов, может, и больше. Хранятся они в плотно закрывающихся шкафах ну а дальше... дальше начинается сказка венского леса! Третий том из собрания сочинений Белинского странно соседствует со вторым и пятым томами Ирасека, рядом — «Инструкция по выкармливанию домашней птицы», «Боевой устав пехоты», «Избранное» Беранже, «Домашние олени», «Вулканы Камчатки», «Кавалер Золотой Звезды», «Лирика» Симонова и так далее, и в таком разрезе. Однако всю верхнюю полку занимает полное собрание Чехова — том к тому...

Отец любил повторять:

— Чехов говорил: «Надо себя дрессировать».

Вспоминаю эти слова в виду цейлонского берега. Странно — Чехов проходил этими широтами, ступал на землю Цейлона. Правда, ничего не написал об этом, только в письмах упоминал о своем хождении по морям и океанам. Может, не успел? А скорее из шепетильности — не мог себе позволить писать о виденном мимо-летно.

Да, надо, обязательно надо себя дрессировать.

Подумать только — двадцать лет критики сочиняли глумливые рецензии почти на все написанное Чеховым, мало того — объявили бардом слюнтяев и рохлей, певцом тоски и печали! Его, который всю жизнь работал, смеялся, увлекался и больше всего на свете не переносил болтунов и резонеров...

Буду каждый день читать Чехова. Обязательно. И начну с переписки. Кстати, это лучший способ узнать писателя — познакомиться с его письмами, заметками, по-

глядеть комментарии и приложения, а потом, пропустив вступительно-разъяснительные статьи, начинать читать самого — вещь за вещью.

Мой рабочий журнал заметно потолстел. Каждый день я вкладываю в синюю канцелярскую папку листочек с записью температуры, влажности, давления, состояния моря и прочими подробностями, окружающими мои блоки. Кроме того, я делаю утреннюю и вечернюю запись проверки режимов работы. Открываю блок номер один, номер два и так далее и аккуратно фиксирую показания измерительных головок. Работа писарская, дурачковая работа. И толк от нее будет только потом, когда после плавания можно будет подробно выяснить, как вели себя блоки, когда появились отказы и в каких именно условиях. Все-таки нормы даны довольно жесткие — аппаратура должна выдерживать влажность свыше 80 процентов при температуре порядка 30 градусов и работать в дождь, когда выпадет до 5 миллиметров влаги в минуту, и солнечную радиацию — тысячу ватт на каждый метр терпеть...

День за днем пишу в журнал. И вот что меня злит: открываю очередной блок, фиксирую отклонение, понимаю: всего-то дел — потенциометр чуть-чуть подвернуть, и будет норма! — а про отвертку и не вспоминай. Мое дело только регистрировать отклонение и никак не влиять на аппаратуру. Это категорически запрещено. И правильно, конечно, запрещено. Для того ведь и ведутся испытания, чтобы выявить уровень надежности, определить число отказов, знать, в каких условиях они произошли... Все ясно. И все-таки, когда понимаешь, что сопротивление резко подскочило скорее всего из-за того, что ослабла пайка контакта, что в пять минут можно бы установить, какого именно контакта, и, дотронувшись паяльником, привести в норму показания контрольных приборов, руки так и чешутся...

Кто-то из великих сказал: гениальность — это терпение, терпение, стремящееся к бесконечности. Если это так, с прискорбием констатирую: гениальность во мне не ночевала...

Но я дрессирую себя и делаю все, как полагается.

Высказывать соображения относительно того, удались или не удались схемы, преждевременно, но что очевидно — корпуса исполнены совершенно бездарно. Краска вся слезла, петли проржавели, когда открываю дверки, чтобы заглянуть вовнутрь, они скрипят, как немазанные телеги; и уплотнения сделаны плохо...

Капитан уверяет, что блоки, выставленные на палубах, портят внешний вид парохода. Возразить нечего: что правда, то правда. Капитан даже предлагал произвести косметическую покраску...

Не знаю, как с точки зрения прочности, но, вероятно, полистироловая упаковка была бы для блоков куда лучше, чем нынешняя металлическая. Записывать подобные соображения в рабочий журнал не полагается, но по возвращении я обязательно скажу об этом начальству...

Мне еще предстоит организовать для одного из блоков (шестого) душ из морской забортной воды и поддерживать ящик под непрерывным потоком не менее суток, но это я думаю проделать ближе к дому.

Вероятно, с точки зрения профессиональной, так сказать, в плане повышения квалификации, это путешествие мне ничего не прибавит. И все-таки я доволен, что все сложилось так, как сложилось.

*5 августа*

С утра хмуро и болтает изрядно. Низкая облачность сулит новый дождь. Берегов не видно. Когда судно ложится на борт, рычит кингстон. Боцман с матросами наводят порядок на палубах. Он, как всегда, в бывших

когда-то белыми, а нынче грязно-коричневых шортах, с устрашающим ножом у пояса, в красной косынке на голове. Ни дать ни взять — пират адмирала Дрейка! (Замполит по прозвищу Помпа, бывший военный моряк и аккуратист высшего разряда, каждый день вычитывает боцману за «экзоцицеский» вид, но старик пропускает все сентенции на эту тему мимо ушей.)

Горизонт расплывается в бело-серой мути. Где кончается море и начинаются облака, различить невозможно. Радиопеленгатор не работает. Радиолот барахлит. Локатор еле дышит, и доверять его показаниям рискованно. Штурмана нервничают.

Старший помощник успокаивает штурманов:

— А как же Колумб устраивался?

Завидный оптимизм, я бы сказал.

Постепенно светлеет, хотя мелкий-мелкий дождичек и не думает прекращаться.

Справа по борту великолепнейшая радуга. Занятно — радуга начинается и заканчивается в каких-нибудь двухстах-трехстах метрах от судна. К тому же радуга еще и отражается в океане, и мы идем будто в нимбе, будто в кольце! В жизни такого еще не видал. Красотища!

Стармех читает лекцию о порядке проведения очередного технического осмотра:

— Раз нам выпала карта плавать на данном, прямо скажу, весьма пожилom и плохо отремонтированном судне, то надо его беречь... и проявлять постоянно высокую техническую бдительность. Как говорят японцы: «Умереть нетрудно, жить трудней»...

Никто на всем пароходе так не надрывается, как машинная команда. И неудивительно — машина старая, запасных частей нет, кругом море. Ребята и работают на совесть, и стараются, где только можно, что-то изобрести, выдумать.

Я было сказал стармеху:

— Ну, что вы их все учите, мораль читаете, они же сами понимают и стараются...

— Понимают? Конечно, понимают,— легко согласился стармех,— только должность у меня такая: положено учить и требовать, требовать и учить!

Что было возразить?

Смолчал, подумав:

«До чего же отвратительная штука — активное занудство».

Потом я все-таки нашел случай высказаться на эту тему, правда, сформулировал свою мысль поделкатнее:

— Когда людей ругают слишком часто и слишком усердно, результат всегда один — человек озлобляется.

— Это верно,— сказал стармех. И, оглянувшись, понизив голос, добавил:— Знаешь, как я его ненавижу.— И он мотнул головой в сторону капитанского мостика.— Страшное дело — состарившаяся тупость.

Признаться, я совершенно не ожидал такого поворота и подобного откровения, и единственное, что нашелся ответить:

— А что говорят на этот счет японцы?

— «Раз есть начало, будет и конец»,— не задумавшись ни на секунду, выпалил стармех.

Да-а, странный получился разговор. И огорчительный вывод приходится сделать: все-таки я еще плохо разбираюсь в людях.

Сначала капитан мне очень понравился, а стармех нет. Через какое-то время мое отношение к капитану резко изменилось, вероятно, тут был большой перегиб: судоводитель он классный, делу предан, знает много, а стармех стал казаться куда симпатичнее, чем вначале, хотя он, конечно, и порядочный зануда...

Раньше я совсем не думал, как должны складываться отношения с людьми, как правильно оценивать того или другого человека. В электронной схеме напортачить — да, страшно, в расчете сопротивлений наврать —

тоже. А жизнь подсказывает — это еще неизвестно, где и в чем опаснее ошибаться — в железках или в людях.

Неожиданно по громкой связи передали: «Товарищ Габов, срочно поднимитесь в радиорубку. Повторяю: товарищ Габов, срочно поднимитесь в радиорубку».

Бегу и думаю: что случилось? Неужели какой-нибудь блок смыло?

Влетаю на палубу, а там стоят человек десять — кто со шваброй, кто с ведром — и, как только я появляюсь, выдают черт знает какую какофонию да еще орут по складам:

— По-здрав-ля-ем! По-здрав-ля-ем!..

Сначала я ничего не мог понять. Но когда из радиорубки вышла буфетчица Нюра и протянула мне тарелку со здоровенной лепешкой из бисквита, обмазанной гущеным молоком, разукрашенной разводами из варенья, и объявила:

— Торт тропикаль — имениннику, — тогда я наконец сообразил: 5 августа сегодня, действительно это день моего рождения! И тут же подумал: «Но они-то откуда узнали?»

Однако долго гадать не пришлось: следом за Нюрой из рубки вышел радист, в руках он держал бланки радиотелеграмм и потребовал, чтобы я сплясал.

Глупо или нет — плясать, а уж такая традиция! Пока не спляшешь, не отдаст.

С дурацкой улыбкой под бредовый аккомпанемент всей банды откалываю какие-то коленца, благодарю за внимание и получаю радиоприветы с Большой земли.

**ПОЗДРАВЛЯЕМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ ГОТОВЬСЯ ОБЯЗАННОСТЯМ ДЯДИ ЦЕЛУЕМ МАМА ТИНА ПАВЕЛ.**

Ясно.

**ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ УДАЧИ НАПОМИНАЮ СЛОВА СТЕНДАЛЯ УМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ СКЛОННЫ ДОЛГО ЛЮБИТЬ ЗАУРЯДНЫХ МУЖЧИН ТЧК ОТ ОДИНОКОЙ ЖИЗНИ ВСЕ СЕРДЦЕ В ЗАНОЗАХ ЗОЯ.**

Тоже ясно.

Значит, у меня сегодня день рождения. Праздник. Прекрасно и удивительно. Могу есть бисквит со сгущенным молоком и узорами из варенья, могу радоваться и подводить итоги.

Но бисквита мне что-то не хочется, а радоваться особенно нечему. Что же остается? Подводить итоги...

— Сколько вам исполнилось, сэр?

— Двадцать восемь.

— Это прекрасно!

— Чего ж прекрасного? Пушкин в двадцать восемь «Во глубине сибирских руд» написал... «Поэта» написал — «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» И «Няне» тоже...

А что еще?

Роюсь в нашей безумной библиотеке, нахожу томик, открываю на 1827 годе, и первое, что попадает на глаза:

Когда подымет океан  
Вокруг меня валы ревучи,  
Когда грозою грянут тучи,  
Храни меня, мой талисман...

Талисман — такое дело... как бы сказать — на любителя. А все остальное — очень даже в жилу...

Какие итоги? К черту нытье! Надо чокнуться пайковым сухим вином с ребятами машинной команды и придумать, как поспособнее им кольца в движке сменить, а то я смотрел, как они мучились, — невозможное дело, каменный век.

С ребятами из машины я действительно чокнулся — безо всякого, понятно, свинства: «Цинандали» нам по тропической норме полагается. Полбутылки на день, чтобы пили с водой.

А еще меня удостоил личной аудиенцией капитан.

Мастер позвал к себе в каюту, поздравил, пожал руку и даже подарил шариковую ручку «паркер».



Вообще против обыкновения он был на этот раз благостно-задумчив и миролюбив. Хотя без философствования все-таки не обошлось:

— Чем барахла больше, тем извилин меньше. Значит, барахло извилины сглаживает.

И еще:

— Если бывает пастеризованное молоко, то почему не сказать — хрустализированное мещанство? Звучит.

Когда в Одессу прибудем, сходи к стармеху в гости. Такое увидишь, месяц в глазах зайчики прыгать будут.

Поздно уже. Лежу и думаю, что же происходит со мной в океане? Что-то определенно происходит, только я не умею выразить.

На кожаном пальто дольше всего не снашиваются пуговицы.

Кто это сказал: талант, как деньги, или — есть, или — нет?

Новые задачи

нельзя

решать

старыми методами...

Качает. И не от вина,

значит — море...

нет, не море — о к е а н.

С тем и уснул, ничего толком не додумал, не сумел выразить. А когда продрал глаза, было утро. Первое, что увидел — давешнюю радиограмму, розовенький бланк. И из всех слов, написанных размашистым почерком нашего радиста, осмыслил почему-то только одно в подписи — мама.

Свинья твой сын, мама. И кругом виноват.

Всю жизнь ты старалась для нас — для отца, для Тинки, для меня. А я злился. И все казалось, что ты воли мне не даешь, что трясешься, как наседка...

Если, конечно, совсем честно говорить, тряслась ты надо мной излишне: как бы я не убился, как бы не заболел, как бы в плохую компанию не угодил...

Но ежели бы одно это, давно позабылись наши «разногласия». Все матери наседки, одна чуть больше, другая чуть меньше.

Позабыть я не могу другое: почему тебе казалось, что я постоянно вру, скрываю от тебя что-то? Для чего ты стороной наводила справки, так сказать, пыталась вести секретное наблюдение, и портфель мой время от времени ревизовала, и карманы выворачивала?

Вот это обидно...

Конечно, тебе многое простить надо: вся жизнь — в напряжении, день и ночь ждала — вернется отец или не вернется. И тут надо отдать тебе должное: ждать ты умела и чувства свои скрывать тоже. Только и заметно бывало — суетишься, когда отец приходит с работы и ты кормишь его, будто обед или там ужин — первое дело в жизни.

Между прочим, он этой суетливости не любил, ты не замечала...

Конечно, не мне вас с отцом судить. Нет у меня на это права. Только не все человек по праву делает, случается, и помимо воли видишь, сравниваешь и оцениваешь.

Ты была мягче отца... добрее... и, пожалуй, в обращении с людьми проще. Ума тебе не занимать... Правда, если можно так выразиться, у отца в единицу времени ума больше было. Вот уж кто в неожиданной обстановке ориентироваться умел — он! И суть самых сложных вещей схватывал с первой подачи. Конечно, в его работе по-другому и нельзя, наверное, было...

Когда я институт заканчивал, случалось о разных тонкостях электроники с ним толковать — уму непостижимо, как он все с одного намека понимал. А ведь электроника вовсе не его хлебом была.

Надо тебе, мама, ответную телеграмму послать. Раз

мне в дяди готовиться велено, значит, тебе — в бабушки. А в моем представлении ты совсем еще и не старая. Глаза большие, серые — и вовсе молодые. И смотришь ты озорно, по-девчоночьи, бывает, особенно, когда рассмеяться готова.

Интересно, а как ты сама к новой роли относишься? Хотел бы я на Тинкину физиономию посмотреть, когда она явилась тебя обрадовать... Вообще-то, все нормально — закон природы! Если бы еще Павел был тут ни при чем. Вот кого не люблю... И не потому, что ничего, кроме своего ватерполо, он не знает и знать не хочет. Мастер спорта в моем представлении — отлично! И в Пашке меня не его моржовая профессия раздражает, а то, что соображения у него как у моржа: всем доволен, ни в чем не сомневается...

А его приятели!

Все под два метра ростом, и в плечах, как говорится, косая сажень, а соберутся, послушаю их, погляжу и невольно думаю: олимп лилипутов...

Удивительно все-таки, как Тинка ничего этого не замечает!

— Пашулька, Пашулька, Пашенька...

Ну, ладно. Вставать пора.

Попробую только телеграммы сочинить.

Например, так: БЛАГОДАРИЮ ОБНИМАЮ МОЗОЛИСТЫМИ РУКАМИ КАНДИДАТА В БАБУШКИ ТЧК НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО СООБЩИТЬ КТО Я ДЯДЯ ИЛИ ТЕТЯ ВАШ ЛЕШКА.

Сойдет?

Теперь Зойке. Ответить все-таки надо.

ЛЮДЯМ БОЛЬШЕ ХЛЕБА И ТАК ЖЕ КАК ВОЗДУХ НУЖНА НАДЕЖДА.

Ну, как, Зоя Александровна? Вполне в вашем духе! Соответствующую подпись надо еще изобрести... Можно — Суворов или, пожалуй, ваш Ремарк...

Не то.

Подпишемся: АДМИРАЛ ДРЕЙК.

*14 августа*

Ошвартовались и стоим в порту Бассейн.

Жарища и картинные тропики вокруг. От безделья и однообразия — разгрузка никак не начинается — взрослые впадают в детство. На пароходе эпидемия — все клеят и запускают воздушных змеев. Главный специалист и рекордсмен — боцман.

Сегодня его здоровеннейший, какой-то двухэтажный змей забрался выше всех летательных аппаратов в городе, вымотав три катушки ниток, розовый змей сделался еле различимым в прохладном светло-сером небе...

А кругом такая нищета, что и вообразить невозможно.

Местные говорят: из ползающих мы едим все, кроме танков, из летающих — все, кроме самолетов, из плавающих — все, кроме подводных лодок. И это святая правда. Я сам наблюдал, как ребятишки запихивали в рот каких-то отвратительных личинок, выковыранных из древесной коры.

Грузчики, работающие на нашем судне, получают на обед горсть риса с подливкой из адского, просто-таки атомной силы перца. И это считается вполне приличным питанием!..

Мне не хочется писать о том, с чем удалось познакомиться лишь поверхностно, одно только могу сказать — ничего более страшного я в жизни еще не видел. И никакое кино, никакие книги, никакие полотна, пусть самых великих мастеров, не в состоянии поведать о голоде, запустении, дикости этой тропической жизни... Личное знакомство с настоящим Востоком смещает все масштабы: временные, имущественные, характеризующие уровень развития техники и пр. и пр. Здесь ты постоянно помнишь: человек рождается голым, даже без шерсти...

Ночью темно и тихо. Разгрузка почему-то приостановилась. Немигающим желтым глазом смотрит на

землю Марс. Здесь он куда ближе к людям, чем в наших широтах, и кажется не дальней планетой, а большущим фонарем, подвешенным на невидимой нитке...

В каюте стармеха свет. Стармех пишет очередной отчет. И ругается.

Впрочем, пишет не один стармех, пишут все.

Первый помощник составляет рейсовое донесение, отчеты, планы «мероприятий». «Мероприятий» должно быть непременно много.

Второй помощник составляет грузовую документацию. Для хранения этой самой документации уже не хватает ящика, хотя размеры у него внушительные —  $1200 \times 800 \times 200$  миллиметров.

Четвертый изводит до килограмма копирки за рейс, актируя и списывая продовольствие, краску, ремонтный материал, деньги...

Капитан не без ехидства заметил сегодня:

— Прежде чем тонуть, надо будет скоро утвердить инструкцию «Правила поведения личного состава в подводном положении вне территориальных вод».

Странно, на обратный курс мы еще не легли и не так скоро ляжем, а уже пошли разговоры о доме, о семьях. Все чаще толкуют ребята, где будем расходовать валюту, и все явно мечтают о Сингапуре.

Самый выгодный для моряков открытый порт Сингапур! Особенно красочно рисует эту точку на земном шаре наш стармех. Ему случалось заходить туда раз семь или восемь; сингапурский базар приводит его в молитвенно-восторженное состояние.

— Ну, я тебе скажу, все, что только душе угодно, навалом! И дешево — берешь не веришь... Чего улыбаешься? Вру? Вот, если подфартит и догружаться будем в Сингапуре, убедитесь — все там есть, все, разве только атомными бомбами не торгуют.

Капитана такие речи раздражают.

— Да не слушай ты! Для него весь шарик — колоссальный универмаг! А лучшие дни жизни — дни дешевой распродажи.

Стармех не остается в долгу. Правда, за глаза, когда капитан уже не может его услышать, говорит:

— Почему мастера домой не тянет, понять можно — трое детей, старшей дочери далеко за тридцать, а его ли наследники, никакой гарантии нету...

Господи, но почему с такими разговорами липнут ко мне? Разве я сплетник, разве кому-нибудь дал повод для откровений? Или все проще — людям удобнее «изливаться» перед посторонним. Ведь каждый понимает — придем в Одессу, и я исчезну для них навсегда.

Почти во всех каютах висят фотографии жен и детей. Редко кто обходится без изображения супруги на переборке, только сон холостяков охраняют длинноногие, полураздетые дивы из иллюстрированных журналов или рекламных проспектов.

На обратном пути все говорят о женах.

И большей частью — плохо, хотя тянутся домой и подсчитывают оставшиеся до встречи дни.

Странно, но — так.

Хочешь того или нет, «семейные» эти разговоры действуют на воображение. И — на мое! Замечаю: в последнее время мне постоянно приходит одна и та же мысль в голову — вернуться, надо жениться.

Почему, собственно, н а д о, спрашиваю себя? И ничего более вразумительного, чем п о р а! — ответить не могу.

И тут же пытаюсь представить себе, на ком бы я мог жениться.

Вот живет в нашем доме, этажом выше, Рита Постникова. Когда я школу кончал, она в третьем или в четвертом классе училась, и тогда я ее вообще не замечал — мелочь. Потом как-то на лестнице встретил и

удивился — откуда такая красавица в нашем подъезде взялась? И сказанул что-то в таком роде:

— Риточка, да тебе на пальто надо нарисовать дорожный знак: «Осторожно, прочие опасности!»

Она не смутилась, видно, привыкла, что с ней заговаривают, за ней ухаживают, набиваются на знакомство, натянула мне кепку на нос, хихикнула и порекомендовала:

— А ты светофильтры со стипендии купи. Говорят, помогает!

С тех пор, встречаясь случайно на лестнице, во дворе, мы всегда обменивались подобными любезностями, а когда Рита поступила в институт, она стала иногда заходить ко мне — задачки решать...

Удивительное дело! Ну, для чего такой девчонке инженерный институт? Данных — ноль целых, ноль десятых для этого дела, шла бы в иняз или во ВГИК... Нет, электроника ей, видите ли, нужна... Задачки по математике, теоретической физике я ей решал, чертежи за нее делал и, что про ее будущее думаю, тоже говорил. А она только смеялась:

— Ну и что? Кончу, сразу — замуж! За кандидата наук, а может быть, и за доктора!..

Кончила. Ни за кандидата, ни за доктора замуж не вышла. Работает в самом заурядном КБ, сто пять рэ в месяц... Может, мне правда к ней подкатиться?

Только несерьезные у нас отношения — иронические.

А вообще с такой женой не стыдно и по улице Горького пройти, а случится, так и по Елисейским полям.

Конечно, все это чепуха. Сначала, наверное, влюбиться надо, потом желательно хоть полпуда соли съесть, и вообще без магнетизма, безо всякого взаимного притяжения какая семейная жизнь получится?

Интересно, а как батя нашу маму нашел?

На фронте они познакомились, это точно. А вот

представить себе отца ухаживающим не могу. Чтобы он там дурацкие слова лопотал, записочки писал или «ловил» взгляды... такое даже смешно вообразить.

Почему? А может, потому, что когда-то я его разговор с Тинкой подслушал. Давно это было.

Тинка, как полоумная, в кого-то там втюрилась и стала отцу объяснять — это она очень любит, объяснять, — что за парень ей попался, как они до двух часов ночи по улицам болтались и все разговаривали... и как ей было интересно слушать его, и какой он, дескать, умный, и как все на свете знает.

И все спрашивала у отца:

— Понимаешь?

А он все отвечал:

— Понимаю, чего ж тут непонятного?

И Тинка опять как швейная машина строчила. Вдруг слышу, отец вздохнул, тяжело так, будто охнул, и говорит:

— Скажи, Тина, а сколько времени ты со своим парнем промолчать можешь?

— Как то есть промолчать? — удивилась Тинка.

— Ну, обыкновенно, посидеть не разговаривая, вместе подумать, на окружающее поглядеть и не соскучиться?

— Не знаю, — сказала Тинка, — не пробовала.

— А ты попробуй. Если на полчаса вас хватит — хорошо, а не хватит — плохо дело...

Это я запомнил, хоть совсем шкет был; и еще в памяти осталось — больше Тинка никогда про того обожателя не вспоминала, будто его вовсе и не было...

## *28 августа*

Утром с левого борта показалась земля. Фиолетовые глыбы гор. Одни — больше, другие — меньше. Небо и море в хмурой задумчивости. Тихо. По расчетам



штурманов, Пенанг откроется часам к шестнадцати. Открылся точно.

Город почти не виден за зеленью. Только отдельные европейские постройки просматриваются. Они спускаются к самой воде.

Через пролив один за другим идут самоходные паромы. Паромы переполнены народом и машинами.

Слева на берегу база «Шелл» — нефть, мазут, бензин.

Быстро темнеет. Рейд кажется иллюминированным по случаю какого-то большого праздника. За вершину горы будто бы зацепился Млечный Путь — это сотни домишек светят своими тусклыми оконцами...

По состоянию на сегодняшний день, как любят говорить докладчики, нами пройдено 8 тысяч миль. И теперь уже точно известно — отсюда мы повернем домой, на Одессу. Сингапур, таким образом, аукнулся. Стармех в расстройстве... Да и не один стармех подсчитывает убытки. Кто-то мрачно сострил нынче:

— Непредвиденное недовыполнение по перевыполнению.

Но большинство озабочены совсем другим — грустить предстоит на рейде, а это всегда долго, это лишние нервы, это ограниченная возможность размяться на берегу...

Неожиданно пришел ко мне в каюту боцман. Как раз я только закончил записывать в рабочий журнал последние данные, когда он появился. Пришел вроде бы и не по делу, а просто так. Кстати, впервые. Начал разговор издали, я даже не сразу сообразил, к чему он клонит. Но мало-помалу выяснилось — боцмана заботят дальнейшие пути технического прогресса!.. Славный он старик, но темный, ужасно темный. И рассуждения его об атомной энергии, достижениях электроники, развитии современного судостроения и прочая и прочая никакой серьезной критики не заслуживают.

Стараясь не обидеть старика, я со всей возможной

деликатностью стал внушать, что движение науки и техники к невиданно высоким целям от людей еще и не зависит: прогресс идет и будет идти, а хотим мы этого или не хотим, значения не имеет. И нам остается одно — по возможности направлять техническое развитие в полезную, а не во вредную для людей сторону; скажем, использовать атомную энергию в двигателях ледоколов и вообще в судовых установках, а не в бомбах всевозрастающей разрушительной силы...

Здесь боцман меня перебил и сказал:

— А почему бы не сделать так: раз уж люди без войны обходиться не могут, пусть бы каждая страна выставила команду, например, в десять или двадцать человек, и устроить матч, вроде футбольного или боксерского. И чтобы судьи из нейтрального государства. Чья команда выиграет, той стране и победа...

Ну, что ответить на такое предложение? Проблема я какую-то чушь, а сам об одном только думал: как бы случайно не обидеть старика. Хороший он человек, жалко его обижать, совестно.

Потом, когда боцман ушел, я долго думал: ну, почему мы так любим выставлять старость в ореоле обязательной мудрости?

Стариков, на мой взгляд, надо не столько уважать в массовом и обязательном порядке, сколько сочувствовать им, жалеть их, проявлять терпимость.

Пусть меня зарежут, но я не верю в особую мудрость очень старых пахарей, генералов, ремесленников, профессоров. Разумеется, исключения бывают, но закономерно, когда сорокалетний профессор дает сто очков вперед своему восьмидесятилетнему коллеге...

Мне кажется, и отец думал так же. Почему-то мне очень четко запомнилось, как он отчитывал своего штурмана:

— Это, Василийч, не довод: молод он понимать! Что значит молод! Разве молодость порок или недостаток?

И потом ты, старый воздушный волк, ко всему притерпелся, и к рутине тоже, а он еще не успел выработать в себе тех приспособительских навыков, которыми мы гордимся. Вот он и протестует. И вполне вероятно, что он ближе к истине, чем ты и чем я.

Штурман не соглашался, спорил. Приводил примеры, опровергающие, по его мнению, доводы отца, а тот по-сменвался и снова и снова поворачивал на свое:

— Нет-нет, это не серьезный разговор. Давай переведем наши доводы и его доводы на язык количественных показателей, построим график и сравним... Это будет наука, это будет серьезный подход к делу, а так получается одна болтовня и брюзжание.

Мои размышления были прерваны дикой суматохой, внезапно поднявшейся на судне. Еще не понимая, что случилось, но чувствуя, что случилось что-то чрезвычайно неприятное, я выскочил из каюты на палубу и первое, что увидел — откуда-то из носовой надстройки валит густой черный дым.

Первая мысль — пожар!

Вторая мысль — там у меня блок номер два!

Дальше уже никаких мыслей, рванул на бак.

Ребята растягивали шершавый пожарный шланг. Орал боцман. Что-то кричал капитан... Это долетело до меня как-то стороной...

Я влетел в помещение каптерки. Дымище! Что горит, не разглядел. В голову стукнуло: надо задранть иллюминатор, а то сквозняк. Сквозняк раздует. Полез. Чихаю, кашляю, из глаз слезы. Задраил... Тут в меня ударило брандспойтной струей. Еле удержался на ногах. Выполз на палубу...

Как выяснилось, ящик мой уцелел. И вообще пожар был пятикопеечный — загорелась какая-то паршивая ветошь в незакрытом ящике. Конечно, халатность. Конечно, предпосылка к чрезвычайному происшествию, а при известной строгости и чрезвычайное происшествие. Словом, неприятность... Но не в этом дело...

Сначала все переругались. Капитан орал на боцмана. Боцман распекал кого-то из матросов. Вставлял свое слово стармех. Сунулся первый помощник. Потом все как-то сразу стихло. И тут капитан объявил:

— Считаю героем тушения несостоявшегося пожара инженера Габова.— И объявил мне благодарность, а потом, уже с глазу на глаз, сказал:

— Ты не очень радуйся. Главное, чтобы в таком деле был герой. Когда есть герой, все приобретает другую окраску: и нарушение хоть не исчезает, но все-таки смягчается... Чего удивляешься? Я дело говорю. Битый... А ты в принципе правильно действовал, иллюминатор обязательно закрыть надо было, тем более что в дыму ты не мог разобрать, сильно ли горит...

Через полчаса или через час все позабыли и о несостоявшемся пожаре, и о моем «героическом» поведении... Может, один я и вспоминаю. И не из тщеславия, и не от обиды, нет — стараюсь выкристаллизовать существо происшествия. И вот какая получается картина: на высоте оказывается тот, кто в наихудших обстоятельствах действует наилучшим образом. Называть такое поведение героизмом или как-нибудь иначе — не суть важно, важно действовать наилучшим образом. Значит, героизм настоящий, тот самый, за который награждают золотыми звездами, прославляют человека, возводят на пьедестал и так далее,— это прежде всего очень хорошая работа, своевременная и четко исполненная...

Мальчишкой я думал: вот бы попасть на войну, там бы я отличился! И не от излишнего честолюбия такие дурацкие мысли лезли мне в голову, а потому что и книги, и кино, и театр постоянно внушают — подвиги совершаются в исключительных обстоятельствах, в пяти случаях из десяти бывают окрашены светом жертвенности, готовностью оплатить свой последний шаг по земле ценой жизни. И волей-неволей мы воспринимали крайнюю ситуацию за нормальную; последний метр дороги виделся нам как весь путь.

В настоящей жизни все не так: надо всегда делать свое дело возможно лучше, каждый день и каждый час, а все остальное от стечения обстоятельств — выпадет на твою долю случай, и, сам того не подозревая, ты вознесешься в герон, не выпадет... тоже не беда.

Главное — быть готовым к подвигу.

Когда отца спрашивали, как он стал Героем Советского Союза, он всегда отшучивался и рассказывал всякие веселые истории. Раньше я думал — из скромности, но теперь начинаю понимать — ничего другого он просто не мог сказать.

Год за годом, день за днем он работал, исполнял то, что было положено по должности, а потом где-то там, высоко, суммировали его заслуги и пришли к заключению: достоин...

Говорят, внешне я похож на отца. Возможно, со стороны виднее. Но в одном я ужасно ему уступаю, мне не хватает его терпения, просто-таки десяти процентов его терпения у меня не будет.

Он мог сто раз, уронив гайку водопомпы (на старом «Москвиче» очень неудобно было заворачивать эту гайку), слазить под машину, поднять гайку, обтереть и, не злясь, снова и снова прилаживать ее к шпильке.

Отец редко болел. А точнее сказать, почти никогда не болел. Но если ему все-таки случалось пролежать дней пять кряду в постели и высокая температура не давала ему читать, он час за часом разматывал какие-то клубки шерсти, валявшиеся у матери черт знает сколько лет, и размотал все до последней ниточки. На подобный «подвиг» я категорически не способен, даже если бы мне платили за каждый клубок по месячному окладу премии. Не знаю, доставляла ему такая работа хоть какое-нибудь удовольствие, сомневаюсь, но он делал ее и делал безропотно.

Впрочем, не исключено, что он испытывал и удовольствие от этого пустякового занятия, ведь в конечном счете, какая разница, что именно преодолевать?

Важно себя перебарывать, делать то, что делать не хочется, что делать противно...

В записных книжках отца я нашел немало строк, посвященных полярным исследователям и полярным экспедициям. Никогда он не был напрямую связан с освоением Севера и, насколько я знаю, не занимался испытаниями полярных самолетов или полярного оборудования. Чем был вызван его повышенный интерес к Арктике и Антарктиде, могу только строить догадки. Наиболее вероятно: Север ставил людей в особо тяжелые условия, и тот, кто ступил на ледяные просторы, кто отважился работать в собачьих условиях этого края, лишает себя возможности отступить. Вот почему, вероятно, отца так занимала психология полярников, их методы подготовки к зимовкам, их подход к оценке снаряжения и в конце концов — их личности. Судя по частоте упоминаний, наиболее близок ему был Руал Амундсен, и он очень уважал Роберта Скотта.

Отец, который ничего никогда не забывал, в разных записных книжках трижды процитировал одни и те же строки Стефана Цвейга: «Характер человека лучше всего познается по его поведению в решительные минуты. Только опасность выявляет скрытые силы и способности человека; все эти потаенные свойства, при средней температуре лежащие ниже уровня измеримости, обретают пластическую форму лишь в подобные критические мгновения».

*12 сентября*

Миновали Цейлон. Ночью был виден далекий, подмигивающий глаз маяка, а наутро суда, суда, суда под флагами всех стран мира.

И снова — океан. Температура воздуха 28 градусов, температура воды 30 градусов. На судне обычные работы. Чтобы сохранить нашу посудину на плаву, без кон-

ца приходится что-то сваривать, обдирать и красить. Ход — слезы: 7 миль!

Вечером тонкий, как лимонная корочка, серпик луны вылез из-за рваных облачных хлопьев. Ветер дует ровно и ласково, вся палуба в соленых брызгах.

По судну бродит озабоченный судовой доктор и подписывает личный состав на флотскую многотиражку «Моряк». Результаты своих усилий он должен не позже 15-го передать по радио в пароходство.

Четырнадцатые сутки кругом только вода и вода.

Штурмана рассчитывают ориентировочный срок прибытия в Одессу, стараясь возможно точнее предусмотреть задержки при бункеровке, изменение погоды, снижение и без того черепашого хода.

У каждого итог получается свой. И немедленно заключаются пари. Самая могущественная «партия» поддерживает старшего помощника, хотя, по его соображениям, день прибытия домой и не самый ранний...

Не принимают участия в спорах только капитан и Жучка.

Капитан, когда у него спрашивают, что он думает относительно прибытия домой, отвечает меланхолично и, как ни странно, нисколько не раздражаясь:

— Прийти должны своевременно или несколько позже.

Многие посылают радиogramмы — слова, естественно, разные, а смысл один — прибываем, встречайте!

Ловлю себя на мысли — мне тоже хочется послать телеграмму.

Какую? Да примерно такую же, как все, кто послал.

Кому? Честно говоря, посылать радиogramму мне некому. Не матери же, не Тинке и, уж во всяком случае, не Рите Постниковой. Значит... Зое...

Оставим в стороне рассуждения о праве чего-то требовать. В конце концов просить можно что угодно и у кого угодно.

Соскучился я без Зои? Нет, не соскучился.

Часто вспоминал о ней? Нет, не часто.

Изобретал какие-нибудь планы на будущее, касающиеся и а с, то есть ее и меня? Нет, не изобретал.

Так почему же мысль о телеграмме не отступает?

Приедет или не приедет? — вот, что меня больше всего интересует. Допустим, не приедет. Прекрасно и, по совети говоря, нормально. Чего бы ей из кожи лезть и ехать?

Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы приехала. Все-таки я бы почувствовал тогда свою власть над ней, свое, пусть и не очень существенное, превосходство...

Мелко? Пожалуй.

Но что делать, если я так чувствую и так думаю?

Едва ли я стану кому-нибудь рассказывать об этих соображениях, но их не скрывать от себя.

Допустим, что она приедет.

Представить нашу встречу, день-другой в Одессе и обратную дорогу в Москву нетрудно. А потом?

Что потом?

Об этом думать не хочется. Тем более что никакого серьезного, так сказать, стационарного «потом» я не в состоянии придумать.

Вывод?

Вероятно, вывод может быть один — никаких радиogramм посылать не надо. Это решение — от ума...

Когда-то в популярной авиационной книжке я прочитал описание слепого полета. В частности, там было сказано: в силу несовершенства человеческого вестибулярного аппарата, заведующего поддержанием равновесия нашего тела, человек, не видящий окружающей среды, не может объективно судить о своем положении в пространстве. Поэтому слепой полет может производиться только по специальным приборам, которые показывают летчику фактическое положение машины в небе. Дальше речь шла о том, что усвоить принцип действия приборов просто, а научиться подчиняться их показаниям трудно. Это я понял плохо. Как так? Если я умею читать показания часовых стрелок, например, то какие еще труд-



ности могут быть в определении времени? Спросил у отца. И тот сказал:

— Это хитрое дело — слепой полет. Вот глядишь ты на креномер и видишь — самолет наклонен вправо. Казалось бы, все ясно. А в то же время у тебя такое ощущение возникает, будто ты левым плечом к борту приваливаешься. Разум велит — действуй в соответствии с показаниями прибора, а руки так и норовят следовать указаниям обманутого инстинкта.

Я не летчик и мудрость эту могу постигнуть, к сожалению, только теоретически, принять на веру. Вот ведь дурацкое положение — все, все я понимаю и возразить решительно ничего не могу, а уверенности, что поступлю разумно, как надо, а не наоборот, нет.

Неужели я просто тряпка? Неужели вот так и проявляется бесхарактерность?

А с другой стороны...

Вот мы приходим в Одессу, минуем Воронцовский маяк и швартуемся к пирсу. Всех встречают, всем улыбаются... И среди встречающих Зоя... Надо думать, она сумеет подать себя!

Могу представить, как выпялит глаза стармех, да и выраженьице капитана нетрудно вообразить...

Но не в этом дело.

Вечером мы вдвоем ходим по Одессе и, может быть, первый раз в жизни разговариваем серьезно. О чем? О жизни, о людях, о том, что я увидел и понял, и о том, что я увидел и не понял...

Ну, что я знал раньше о голоде, например?

Считал — в животе бурчит, значит, голодный... А теперь? Я видел ребятишек, которые чуть свет выходили из джунглей. Они паслись там. Я видел взрослых, для которых горстка сваренного в воде риса — праздничная еда... Я видел, как ложатся на землю люди, чтобы уже не встать...

Какими представлялись мне угнетенные, забытые, нищие колониального Востока?

Прежде всего силой, способной немедленно сокрушать вековые устои несправедливости, бороться против нищеты и голода... И как плохо соединяется это представление с тихим покорством рикш, упрямо предлагающих свои услуги и не понимающих, почему мы, представители другого мира, отказываемся пользоваться их экипажами.

Только разве обо всем этом поговоришь с Зоей?

Скорее всего она усмехнется, скривит губы, перебьет меня и огорошит какой-нибудь готовой мудростью из чужого репертуара. А может и просто сказать:

— Алешечка, детка моя, но неужели я летела сюда, в Одессу, отпрашиваясь с работы, мороча голову Фурману, чтобы слушать эту жалостливую политинформацию? Или ты нисколько не соскучился без меня?..

Мама, вот кто стал бы меня слушать. И не перебила бы, и, уж конечно, посочувствовала чужому горю. Эх, не так что-то у нас, почему?..

Кругом вода и вода, а на мачте сидит... попугай! Не понимаю, откуда он мог взяться, как долетел до нас и, главное, зачем? Ведь попугай, насколько я знаю, птица вовсе не морская, и в океане ему делать совершенно нечего.

А красив!

Говорят, попугаи триста лет живут. Невозможно представить, что вот эта зелено-сине-красная птица ровесница моему предку, жившему при... Екатерине Второй. Обалдеть!

И тут я почему-то решил: во-первых, океан мне надоел, во-вторых, надо пойти к ребятам из машинной команды и найти себе полезное занятие, иначе недолго и свихнуться от этого бесконечного самоанализа.

Прогрохотав по железным ступенькам трапа все пять маршей вниз, я очутился в душном, горячем царстве

стармеха и увидел — ребята снимают один из водонасосов. Мое незапланированное появление восприняли дружески-иронически:

— Еще пол лошадиной силы прибыло,— сказал вахтенный механик, утирая лицо и шею грязным вафельным полотенцем.

— Привет мученикам науки! — сказал ремонтный механик.— Сейчас вскроем эту заразу, и ты получишь практическую возможность заняться реанимацией...

Как успокаивает железо! Обыкновенное ржавое железо, более напоминающее металлолом, за которым охотятся школьники, чем действующий и притом весьма ответственный механизм.

Мы ковырялись с этой окаянной помпой часа три. И больше, я уже ни о чем не думал, только пил время от времени тепловатую воду, подкрашенную красным столовым вином, только размазывал грязь по лицу и худел, просто-таки на глазах таял. И когда в конце концов мы ее все-таки поставили на место и заставили работать, то единственное, что казалось мне еще важным,— преодолеть пять железных маршей крутого железного трапа, ведущего на палубу — к солнечному свету, воздуху и ветру...

Дед мой чинил часы, бабка варила обеды, стирала, штопала, отец летал на самолетах... почему мне больше, чем им, надо? Действительно, почему?

Мог бы ремонтировать телевизоры, ковыряться в радиоприемниках, болеть за ЦСКА и вполне обходиться без самоанализа и прочих проблем высшего порядка?

Так или нет...

А попугай улетел.

Интересно — куда?

*19 сентября*

Вода, вода и еще сто раз вода.

Стороной прошли кашалоты...

Завтра ожидается мыс Гвардафуй, и, следовательно,

к о н е ц океану. Этого события все ждут почему-то с радостным оживлением, хотя, если подумать, что изменится от того, что мы пересечем совершенно условную черту на карте?

До Одессы еще топать и топать!

Но уж так устроен человек, что ему свойственно придумывать себе памятные даты, праздничные события; я бы даже так сказал: «мероприятия по вопросу мечты».

Не знаю, сколь знаменит и славен в Америке писатель Трумэн Кэпоте, но здесь, на пароходе, я прочитал его «Голоса травы», книжка мне понравилась: все в ней удивительно просто и удивительно зримо изображено. В частности, Кэпоте пишет: «Когда человек не может мечтать, он все равно что не может потеть — в нем накапливается яд».

Это здорово сказано!

Тут вечером я долго толкался на баке и безо всякого дела смотрел вперед — в океан. Мне нравится наблюдать, как вспенивается и поднимается вода на самом форштевне, как она, будто кипя, обтекает борта. И потом, когда стоишь на самом-самом носу, не видя палуб, надстроек, мачт, то волей-неволей возникает ощущение, будто не судно, а ты сам преодолеваешь океан.

Стоял я, глядел вдаль и почему-то подумал: бог обделил меня слухом. Никакого открытия в этом не было, я с детства не могу отличить «Амурские волны», например, от любого другого вальса, и голоса тоже нет... Я еще не уловил связи между первой и второй мыслью, как подступила новая: слон наступил на ухо.

И тут до меня смутно дошло — ведь эти три мысли-строчки связаны между собой. Я повторил их сначала про себя, потом, благо никто меня не мог услышать, вслух, и получилось:

Бог обделил меня слухом,  
голоса тоже нет.  
Слон наступил на ухо —

и дальше совсем уж само собой приписывалось:

Талдычат мне тридцать лет.

Понятия не имею, как пишут стихи. Пробовал, конечно, как все мальчишки, но без особой страсти, больше для стенной газеты и в амплуа сатирическом, а тут что-то стронулось, меня подхватило, понесло:

Годы — большое дело,  
и повторение — вещь.  
Только мне надоело  
немым жить, как старый лещ...  
И, выйдя на бак в океане,  
когда разъярилась волна,  
я пробую голос в тумане  
(должно быть, толкнул сатана).  
Пою я тихонечко-тихо,  
с грозной стихией не споря,  
но испугалось и стихло  
штормом вспененное море.

Очень странное чувство испытываю я в этот момент: мне и весело, и грустно, и стыдно немного, и как-то беспечно-радостно...

На розовеющем горизонте мелькает трепещущее облачко, должно быть, летающие рыбки проносятся над самой водой. Редкостной красоты это зрелище — голубовато-серебристые рыбешки на стрелчатых часто-часто вибрирующих крылышках. И видишь, а повернуть трудно...

Стоило отвлечься, и волна уходит. Последние строчки еле-еле складываются:

Бог обделил меня слухом,  
голоса тоже нет,  
слон наступил мне на ухо,  
и это, увы, не секрет...

Мне не нравятся заключительные строки. Я стараюсь найти другой ход — более ироничный и неожиданный. но... ничего не получается. Я даже расстраиваюсь, хотя на черта мне эти «стихи»? Чужь какая-то...

Выручает боцман. Он появляется на баке по какой-то своей надобности, косится на меня. Во мне все сжимается, хотя я прекрасно понимаю, что боцман никак не может догадаться, чем я только что занимался.

Старик останавливается рядом со мной, смотрит куда-то вперед, вздыхает и говорит:

— Вот и кончается океан...

— Тут вода,— возможно безразличнее говорю я,— и там вода. Что же кончается?

Почему-то мое невинное выражение раздражает боцмана, и он ворчит:

— Вода-вода, что значит вода? Из крана кухонного тоже вода течет, и в сортирном бачке — вода играет... По-твоему, все одно?..

— Смотри с какой точки зрения смотреть,— говорю я.— Реки, моря, дожди — все в одном круговороте...

Боцман смотрит на меня подозрительно. В его взгляде мелькает что-то автоинспекторское: «А не выпивши ли ты, голубчик?» И мне делается совестно. Почему, и сам не знаю. Ведь ничего плохого, ничего обидного старику я не сказал. Просто из меня снова лезет вечный дух противоречия, что живет во мне с детства и порой бунтует, постоянно доставляя самые неожиданные неприятности.

Так и в школе бывало — вдруг ни с того ни с сего я возражал учителям, лишь бы возражать, и в институте я задавал нелепые вопросы профессорам, заставляя даже самых терпеливых выходить, что называется, из берегов, а уж в армии я натерпелся от этого «духа»...

— Нет, не кончается океан,— говорю я боцману,— он теперь со мной на всю жизнь,— и, как плохой актер, я прижимаю обе руки к груди,— вот здесь.

Странно, но мой глупо-патетический жест и скверная мелодекламация производят на боцмана вполне благоприятное впечатление. Во всяком случае, он замечает:

— Ишь ты, сморячился, значит!

Я смеюсь. И боцман сразу настораживается, и взгляд его вновь приобретает подозрительный оттенок:

— Или выпил? — осторожно спрашивает старик. В голосе его никакого осуждения, одно любопытство.

Мне хочется сказать старику приятное.

— Вот стою и думаю: если бы мог все бросить и начать снова, пошел бы на флот, ей-богу, пошел бы...

— А что, — говорит боцман, — вполне возможное дело. У нас народу постоянно не хватает. Ты сунься в парходство, пошлют на курсы — инженер все-таки, пройдешь переквалификацию месяцев за шесть и вполне... Ну, в загранку сразу не пошлют, а так вполне... Возможное дело...

Все-таки я сделал то, чего делать не следовало, — грохнул-таки радиogramму Зое.

И уже через час стал думать: хоть бы она не приезжала в Одессу. Ни ей, ни мне это совершенно ни к чему...

Радисту, ясное дело, наплевать — что я написал на бланке, то он и отстучал, — а я злюсь и не могу смотреть ему в глаза.

Такое уже было со мной. Правда, давно.

Однажды в воскресенье толкались мы с ребятами около городского стадиона, тшечно пытаюсь просочиться за ограду. А тут какое-то происшествие случилось — или драка, или облава на билетных спекулянтов, точно не знаю. Но факт остается фактом — всю нашу компанию загребли и вместе с другими, такими же, как и мы, пацанами притащили в милицию.

Пока то да се, пока разбирались, пожалуй, часа два прошло. Отпустили нас, как говорят, с миром, хотя, на мой взгляд, могли бы и извиниться. Но тогда нам не до извинений было — выскочили и радовались!..

Домой я пришел с опозданием против обещанного, и отец, не любивший никаких опозданий, спросил, где я шлялся так долго. Почему я соврал, не могу понять. Скрывать мне было абсолютно нечего. Но уж как-то так получилось:

— В кино с ребятами задержался. Оказывается, он двухсерийный...

Видно, на моей физиономии мелькнуло при этом что-то не то — очень уж внимательно глянул отец в мою сторону, с подозрением, как мне показалось.

И тогда для «верности» я назвал кинотеатр, в котором мы якобы задержались, и фильм, который будто только что смотрел.

— Понравилась картина? — спросил отец.

— Да как сказать... не очень. Понимаешь, с самого начала можно догадаться, что убил совсем не тот, на которого все думают... И потом... если лицо у человека некрасивое, разве обязательно, чтобы он был плохой?.. — Я плел что-то еще, но отец вроде и не слушал.

Если разобраться, что случилось? Картину я видел на прошлой неделе, а в этот день ходил не в кино, а на стадион... задержали нас по ошибке... ипустили...

И все-таки я все время испытывал чувство неприятного беспокойства, легкой, исчезающей тревоги.

А когда ложился спать, увидел на подушке газету с репертуаром городских кинотеатров. Предчувствуя недоброе, взял газету в руки, скользнул по таблице взглядом и увидел — все сеансы, начинавшиеся от 18.00 до 19.30, подчеркнуты красными чернилами... ни на одном «мой» фильм не шел.

Мне сделалось совсем тошно, и я потащился в кухню, где отец в это время возился с какими-то железками. (Он часто мастерил всякие мелочи для дома и особенно охотно ремонтировал старые замки.)

Отец даже не взглянул на меня, когда я вошел в кухню.

— Батя, — сказал я... — а что говорить дальше, никак не мог сообразить.

Отец пилил в маленьких тисочках и посвистывал.

— Значит, такое дело, батя...



— Очень простое дело,— неожиданно отозвался отец,— врать не надо, и тогда ничего запоминать не придется. Вот и все...

— Понимаешь, батя, так вышло... я, вообще-то, не хотел ничего такого, понимаешь...

— Понимаю. Врать не надо!

— Прости, батя, так уж вышло.

— Спать иди. Поздно.

И все.

Испытывая какую-то отвратительную пустоту во всем теле, я пошел спать. Спорить с отцом было бесполезно, возражать нечего.

С неделю, наверное, после этого я боялся смотреть отцу в глаза, хотя он ни полусловом не попрекнул меня больше.

Изю всех мыслимых земных грехов отец считал самым унижающим человека вранье. И никаких градаций или степеней лжи не признавал. Большое вранье или мелкая брехня — для него значение не имело. Или человек всегда говорит правду, и тогда — достоин, или нет, и тогда — недостоин уважения, доверия, дружбы. Тот, кто соврет по мелочи, завтра предаст в бою. Вот такая жизненная у него была установка: или — или! И никаких скидок.

*21 сентября*

Ну вот, наконец мы зашли за Гвардафуй.

По науке — океан кончился. Правда, я не заметил, ни когда, ни где именно это случилось. Постепенно вода сделалась темнее и спокойнее, убился порывистый ветер, на палубах установилась духотища — не продохнуть.

Неожиданно метрах в двадцати от борта вынырнул кашалот (может, из тех, что давеча прошли стороной?) и так вздохнул, будто паровая машина стравила избыток давления. Жучка едва с ума не сошла. Лаяла, на-

дываясь, топорщила выгвазданную голубой краской шерсть, пока, обессиленная, не свалилась на палубе...

Все радуются: скоро финиш! Океан кончился.

Пробегая мимо меня по палубе, боцман стрельнул разбойничьим глазом и, словно заговорщик, спросил низким хриплым голосом:

— Так где кончается океан?

Сложив руки на груди, я покачал головой: дескать, нет, не кончается океан...

Сегодня перелистал записи. Не знаю, какое будет итоговое заключение по аппаратуре, но, что касается графиков, спокоен — нарисуются! Ни одного срока наблюдений не пропущено, все замеры исполнены.

И это позволяет заметить: инженер Габов, он же сторож и личный секретарь, а еще уборщица тетя Даша при контрольных блоках, зарекомендовал себя положительно.

Инженер Габов овладел специфическими морскими условиями работы без предварительной подготовки. И не путает брашпиль с бугелем, шпигат со шлюпбалкой, мидель и модуль... Если кто-либо посчитает, что этого мало, пусть попробует сам.

Инженер Габов не без труда и отдельных ошибок сумел вписаться в коллектив и приобрел к концу плавания вполне устойчивый авторитет и уважение.

Главным пробелом в практической деятельности инженера Габова следует считать: он не заметил и не зафиксировал, где кончается океан, за что должен понести наказание, мера которого будет определена с учетом настоящего объяснения.

Фиксировать границу океана не входило в мои обязанности: ни устных, ни письменных указаний на этот счет я ни от кого не получал. Это — во-первых. И во-вторых, океан не кончается нигде.

К сему — А. Габов.

## СОДЕРЖАНИЕ

Часы назад не ходят . . . . .	3
Проценты на капитал . . . . .	67
Где кончается океан? . . . . .	145

ИБ № 4056

**Анатолий Маркович Марнуша**

**ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ**

**Редактор Е. Калмыкова**

**Художник Б. Юдкин**

**Художественный редактор И. Фадин**

**Технический редактор Г. Варыханова**

**Корректоры Н. Мейланд, И. Тарасова**

Сдано в набор 08.08.84. Подписано в печать 04.03.85. А 02171.  
Формат 70×108 1/32. Бумага кн.-журнальная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 9,45. Учетно-изд. л. 9,8. Усл. кр.-отт. 9,8. Тираж 100 000 экз. Цена 65 коп. Изд. № 1250. Зак. 4—285.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21.

Полиграфкомбинат ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, Пархоменко 38—42.

